

ПРОВЕРЕНО
НА СЕБЕ

Вне эфира

Александр Петляков

Это нельзя
срежиссировать

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Александр Петляков

Вне эфира

<https://litres.ru/74659617>

SelfPub; 2026

Аннотация

Молодой и успешный шоумен Андрей ведёт на одном из телеканалов своё шоу под названием "Проверено на себе". В нём он рассказывает о паранормальных местах по всей России, где, якобы, он лично проверяет наличие или отсутствие мистической силы. Рейтинги зашкаливают и никто не догадывается о том, что всё это ложь и все эти места, все съёмки и тексты срежисированы. Однако, вся эта ложь несколько не волнует Андрея. В семейной жизни у него не всё хорошо и жена Кристина многое скрывает и часто обманывает своего мужа.

Всё меняется, когда однажды в прямом эфире Андрею звонит какой-то старик и приглашает приехать его и жену в одну из деревень на севере России. Парень думает, что звонок, как всегда, постановочный и подыгрывает абоненту, а так же даёт обещание приехать, надеясь выкрутиться для публики очередным обманом.

Однако это путешествие и для Андрея, и для его жены было предначертано. Каждый из них уже подошел к своему краю.

Александр Петляков

Вне эфира

Глава 1

Новый «Лэнд Крузер» двигался сквозь пробку на «Кутузовском» мягко, будто и не машина вовсе, а хороший массаж под музыку. Я поймал своё отражение в зеркале заднего вида — свежая стрижка, скулы подсвечены загаром с последней командировки на Мальдивы, куда я, разумеется, летал не за паранормальным, а за фотографиями для инстаграма. Улыбнулся себе. Хорош. В сорок таких лиц не бывает у тех, кто работает на зарплату. Через два часа эфир. «Проверено на себе», прайм-тайм, три с половиной миллиона зрителей по стране, и это по официальной статистике, а по факту — больше, потому что программу пересматривают, репостят обрезки в сторис, комментируют.

Сегодня в сюжете — заброшенная психбольница под Тверью, где, если верить сценарию, по ночам слышны детские голоса. Слышны они там ровно настолько, насколько наш звукорежиссёр Дима умеет накладывать эффекты в постпродакшене. Но зрителю нужна дрожь, а не правда. Правда никого не собирает у экранов.

На светофоре у «Триумфальной» машины встали намерт-

во. Я побарабанил пальцами по колену, глянул на часы. Время есть, водитель Гоша это знает, он всегда закладывает запас. В стекло со стороны тротуара кто-то стукнул костяшками. Я повернул голову — мужик лет пятидесяти, а может, тридцати, не разберёшь под слоем грязи и седой щетины, куртка с чужого плеча, один рукав короче другого. Из рта пахло, наверное, даже через закрытое окно, хотя это, конечно, воображение. Он что-то говорил, беззвучно для меня, шевелил губами, тыкал пальцем себе в рот. Гоша покосился на меня в зеркало, ожидая команды. Я чуть-чуть опустил стекло, чтобы запах не ударил в лицо и не довёл до обморока.

— Уважаемый, подайте, — прохрипел бомж, наклонившись к щели. — На хлеб. Второй день не жрал.

Я смотрел на него секунду, две. У него дрожали руки, и это было артистично, я бы даже сказал, профессионально. Такую дрожь у нас на площадке ставят актёрам массовки за отдельную плату — тряссти руками, чтобы выглядело правдоподобно на камеру.

— Знаешь, что я тебе скажу, — произнёс я, не столько ему, сколько Гоше, повернувшись в пол оборота. — Такие, как он, притворяются бедными профессионально. Это ремесло, не хуже нашего. Стоит, где-нибудь, у метро с картонкой «на операцию ребёнку», а вечером за ним приезжает такая же тачка, как у нас, и он в ней уезжает в свою двушку в Отрадном.

— Серьёзно? — хмыкнул Гоша, не отрывая взгляда от

светофора.

— Серьёзно. Я в этом бизнесе двенадцать лет, поверь мне на слово. Люди обожают показывать нужду. Это работает, потому что жалость продаётся лучше, чем радость. Мы с тобой это каждый день эксплуатируем в эфире, только у нас декорации подороже.

Бомж, кажется, что-то расслышал сквозь щель стекла, потому что лицо у него дёрнулось, будто от пощёчины. Он не отступил.

— Самому бы кто подал! — бросил я ему уже прямо, без нужды понижать голос. — Иди отсюда! Бог подаст!

Светофор «подмигнул» зелёным. Гоша тронул машину плавно, без рывка, как учили в автошколе представительского класса. Бомж остался позади, у бордюра, и в зеркале заднего вида я увидел, как он что-то кричит вслед, размахивая рукой, — то ли ругательство, то ли проклятие, не разобрать, стекло я уже поднял. Оборачиваться не захотелось. Что толку смотреть назад на то, что уже проехал?

Телефон в кармане пиджака завибрировал. Напоминание из календаря:

«Эфир — 19:00, грим за час, брифинг с редакторами».

Я откинулся на кожаную спинку, прикрыл глаза, позволил себе на минуту вспомнить, с чего всё начиналось, — не потому что стало совестно, а потому что приятно было мерить пройденный путь, как меряют этажи в новом доме, стоя в лифте.

Двенадцать лет назад я таскал штативы за режиссёром на третьесортном канале, получал зарплату, которой хватало на съём комнаты в Бирюлёво, а сверху доплачивал тесть, Сергей Николаевич, хотя мы тогда с Кристиной ещё даже не расписались — он давал деньги дочери, а я аккуратно «откусывал» от них на такси и обеды с нужными людьми. Тесть до сих пор считает, что я тот самый мальчик на побегушках, который тратил чужое и мечтал о своём шоу, сидя на редакционных летучках и молча кивал, пока другие обсуждали рейтинги.

Может, он и прав. Мечтал я тогда честно, без прикрас. Хотел свою программу, своё лицо в титрах, свою фамилию крупным шрифтом. Никто не спрашивал, какой ценой.

Машина набрала скорость, Москва за окном потекла привычным гляncем — реклама на билбордах, огни ресторанов, люди в дорогих пальто, спешащие мимо таких же бомжей на других перекрёстках, которых никто, кроме меня, кажется, и не замечает.

Я достал телефон, открыл сценарий на сегодняшний эфир, пробежал глазами реплики. Всё было расписано по минутам — где вздох, где пауза, где я нахмурюсь, будто мне действительно страшно, где зрители «охают» и «ахают» по команде ассистента, крупный план какой-нибудь толстой «скуфини», которая качает головой и креститься.

Через сорок минут будет студия. Через два часа — эфир. И я был уверен совершенно точно, что сегодняшний вечер пройдёт так же гладко, как и все предыдущие полторы сотни.

Гримёрка встретила меня запахом лака для волос и той особой прохладой кондиционера, которую я всегда узнавал раньше, чем видел саму комнату. Лена, гример, уже разложила кисточки на столике, а на экране планшета, прислонённого к зеркалу, светились цифры — доля аудитории за прошлый выпуск, восемнадцать и три десятых, рост на полтора пункта к среде.

— Ну ты монстр, — сказала Лена, разворачивая меня к свету. — «Дом с призраком на Молодогвардейской» всех порвал!!

— Дом «порвал» сам себя! — я подмигнул отражению и слегка улыбнулся ему. — Мы просто подсветили трещины.

Она рассмеялась, будто я пошутил, хотя я не шутил. Пудра легла тонким слоем, скрыв под собой едва заметные мешки от бессонной ночи — не той, о которой стоило бы беспокоиться зрителю, а обычной, рабочей, когда до трёх часов правишь монтаж с редакторами.

Я поправил прядь у виска, подумал, что седина там становится честнее, чем всё остальное во мне, и решил не закрашивать до следующей серии.

В дверь всунулся Паша, продюсер выпуска, с планшетом под мышкой и выражением человека, который спешит успеть до звонка.

— Андрюх, «финалку» читал? Актриса на площадке, свет уже выставили под «квартиру с призраком мужа». В два два-

дцать по хронометражу она достаёт из шкафа его рубашку, начинает плакать, ты подходишь, в этот момент оператор Стёпа даёт нам скрип половицы из динамика — тот самый, что записывали на реальной студии «звукачей», не бутафорский. Дальше твоя реплика про «энергию, застрявшую между мирами», и мы уходим на рекламу.

— А если она переиграет? В прошлый раз чуть сопли из носа не полились, комично вышло!

— Отрепетировали три раза, нормально всё. — Паша щёлкнул планшетом. — И да, ещё одно, звонок от зрителей после третьего блока, как обычно, отобрали редакторы, там пара вопросов про твой дом, чувствуешь ли ты что-то дома сам, ну ты понял формат.

Я кивнул, глядя, как Лена подводит мне брови на полтона темнее, чем нужно на самом деле, но ровно настолько, чтобы камера прочитала - «тревога» без слов. Всё было размечено с точностью хирургического протокола, и в этой размеченности я находил своё, особое спокойствие. Люди боятся неизвестности. Я давно перестал её бояться, потому что научился её строить сам, доска за доской.

Пока Лена возилась с тональным кремом, я поймал в зеркале собственные глаза и на секунду вспомнил другую гримёрку, поменьше и попроще, несколько лет назад, когда я ещё был просто ассистентом с амбициями и папкой сценариев под мышкой, которые никто не хотел читать. Тогда учредительница канала, женщина с прямой спиной и голосом, ко-

торый не повышался даже в гневе, вызвала меня после эфира не по делу — просто спросить, как я оцениваю рейтинг конкурентов. Разговор затянулся на два часа, потом ещё на один, уже не о рейтингах. Я помню её кабинет на исходе полуночи, свет только от настольной лампы, и то, как она сказала, глядя не на меня, а в окно на подсвеченную Москву:

— Люди не хотят знать правду, Андрей. Они хотят, чтобы им было приятно бояться. Это разные вещи, и путать их — непрофессионально.

Я тогда промолчал, потому что был согласен, но боялся, что согласие прозвучит слишком быстро и выдаст меня целиком.

Через неделю мы снова остались вдвоём после эфира, и уже не разговаривали ни о чём. Именно в ту ночь, когда простыни ещё пахли её духами, а я лежал, глядя в потолок с лепниной, придуманной дизайнером под старину, я и произнёс вслух то, что вынашивал полгода: «Проверено на себе». Формат, где я лично захожу в дом с призраком, лично сплю в палате психбольницы, лично беру интервью у одержимой, и всё это снято так, будто оператор случайно оказался рядом с настоящим чудом.

Она приподнялась на локте, посмотрела на меня внимательно, дольше, чем требовалось для делового разговора.

— А если не работает?

— Сработает! Люди же не хотят знать правду, она им не нужна, вы сами сказали.

Она улыбнулась тогда впервые за ночь по-настоящему, не той улыбкой, которую показывают на деловых встречах, и я понял, что зелёный свет уже дан, осталось только формально это оформить.

Через месяц у меня было своё шоу, своё имя в титрах крупным шрифтом, и в тот же месяц я перестал появляться в её кабинете после эфира.

Совесть тогда шевельнулась один раз, коротко, будто кто-то стукнул по столу в соседней комнате, и затихла. Я решил, что это была честная сделка: она получила рейтинги, я — карьеру. Никто никому ничего не должен.

— Готово! — сказала Лена, отступая от меня и разглядывая свою работу с прищуром художника. — Красавец!

Из динамика под потолком щёлкнуло, и голос звукорежиссёра, ровный, будничный, произнёс:

— Андрей Сергеевич, на площадку, эфир через пять минут!

Я встал, одёрнул пиджак, ещё раз мазнул взглядом по цифрам на планшете — восемнадцать и три десятых — и пошёл на голос, туда, где уже разогревался свет над декорацией квартиры с призраком мужа, а актриса, выбранная за умение плакать по команде, ждала своей рубашки из шкафа.

Красный огонёк над камерой номер два вспыхнул, и я почувствовал, как лицо само собой складывается в ту самую

полуулыбку, которую придумала для меня Лена ещё год назад — «верю-не верю», где правый уголок губ чуть выше левого, а брови сведены на миллиметр, ровно настолько, чтобы зритель дома считал сомнение и тут же захотел его развеять.

— Мы находимся в квартире на Профсоюзной, — сказал я, понизив голос до того регистра, который в монтажной называют «доверительным». — Хозяйка утверждает, что бывший муж не покинул это место даже после развода. И, надо сказать, развод у них был окончательный.

Актриса на диване всхлипнула точно по счёту, который отбивал ей помощник режиссёра из-за штатива, подняв два пальца, потом один.

Я обернулся к шкафу, зная заранее, в какую секунду это случится, и половица под моим ботинком скрипнула — громко, театрально, ровно там, где под полом закопан ревербератор размером с сигаретную пачку. Свет мигнул раз, другой, погас на полторы секунды и вернулся уже холоднее, синее — техник Витя всегда чуть перебарщивал с гелями, но зрителю нравилось.

— Вы чувствуете? — спросил я, обращаясь то ли к актрисе, то ли напрямую в объектив, и позволил голосу дрогнуть на последнем слове, как будто сам не был до конца уверен, что чувствую. — Здесь стало холоднее!

За кадром оператор Саша поднял большой палец, я подмигнул ему одним глазом, тем, что не видела основная камера, и снова повернулся к шкафу с лицом человека, готового

встретиться с неизвестностью.

Дверца скрипнула сама, потому что леску дёргал ассистент, спрятавшийся за декорацией, и рубашка внутри качнулась на плечиках, будто её тронула невидимая рука.

— Боже... — прошептала актриса, зажимая рот ладонью, и я мысленно отметил, что в этот раз она сыграла лучше, чем на репетиции, испуг вышел не киношный, а какой-то «мокрый», настоящий на вид.

— Спокойно, — сказал я в камеру тем самым тоном, каким говорят врачи скорой помощи в сериалах, — мы здесь для того, чтобы разобраться, а не пугаться.

В этот момент в студии, куда транслировался этот же эфир параллельно на большом экране, для зрителей в зале, зажглась лампочка над пультом линии зрительских звонков. Обычный номер, обычная строка внизу экрана:

«Позвоните и расскажите свою историю».

В девяти случаях из десяти это были «подсаженные» истории, люди, которых находил кастинг-отдел по объявлениям, отрепетированные заранее, с нужными паузами и нужным дрожанием в голосе.

Я поднял руку, давая знак, что перехожу к следующему блоку, и режиссёрский голос в наушнике, ровный, буднично-произнёс:

— Андрей, у нас звонок. Бери, странный голос, звучит хорошо для эфира.

Я улыбнулся уже без всякой полуулыбки, широко, как

улыбаются перед тем, как объявить главный номер программы, и повернулся к камере номер один, той, что стояла у меня за спиной чуть сбоку, снимая одновременно и меня, и зал.

— Друзья, у нас на линии звонок, — сказал я, растягивая слова, чтобы дать монтажёрам время вставить нужную заставку. — Давайте послушаем!

Ассистент протянул мне гарнитуру, я приложил её к уху с той же лёгкостью, с какой берут бокал на светском приёме, и произнёс дежурное, отработанное годами:

— Здравствуйте, вы в прямом эфире шоу «Проверено на себе». Как вас зовут и что вы хотели рассказать?

В трубке было тихо не той тишиной, которая бывает при плохой связи, с потрескиванием и шорохом, а какой-то ровной, плотной, будто на том конце провода находилась не улица и не квартира, а закрытая комната без окон. Я ещё успел подумать, что звукорежиссёр молодец, подобрал шумовую дорожку под настроение, прежде чем тишина треснула и оттуда пробился голос.

Не «здравствуйте», не «алло», не то заготовленное «а вы правда тот самый Андрей из телевизора», с которым обычно начинают подсаженные истории. Просто имя, произнесённое так, будто его вытащили откуда-то из моих документов, из паспорта, лежащего в сейфе загородного дома, и теперь примеряли на язык, пробуя на вкус, как примеряют чужую вещь.

Голос был старческий, я успел это отметить с профессио-

нальным удовольствием кастинг-директора: хорошая фактура, годится для драматургии. Только звучал он неправильно, и я не сразу понял, чем именно. Будто кто-то тёр два сухих полена друг о друга и заставлял их выговаривать слова. Не хрип, не одышка, свойственная реальным старикам, звонящим на такие передачи, а именно скрип, ровный, тягучий, как несмазанная петля на амбарной двери, которую открывают редко и без охоты.

— Слушаю вас! — ответил я, включая ту самую бархатистую интонацию, которую отрабатывал перед зеркалом три года подряд. — Представьтесь, пожалуйста, для наших зрителей?

— Имя нам – Легион!

Зал, тот, что сидел в студии за спиной оператора, издал сдержанный смешок, кто-то решил, что это часть номера, хорошо срежиссированная затравка. Я тоже чуть улыбнулся уголком рта, специально для камеры номер два, той, что снимала крупный план моего лица.

— О, у нас в студии сейчас почитатели Нового Завета! — сказал я с удивлением в голосе. — К сожалению, тут регистр в студии, но, боюсь, такого имени в списке звонивших нет! Может у вас есть какое-то более мирское и понятное имя?

— Ты забыл... ты быстро забываешь обо всём! — сказал старик, и скрип в его голосе стал чуть громче, будто он подавался ближе к трубке. — Как ты там нищему сказал: самому бы кто подал? Я не Бог, но подношение тебе сделаю!

Я почувствовал, как у меня на секунду замерла рука с гарнитурой у уха, чуть крепче, чем нужно, вжалась в кожу. Пробомжа у метро я никому не рассказывал. Ни ассистентам, ни сценаристам, ни тем более кастинг-отделу, который собирает истории для звонков. Это была случайная встреча по дороге на съёмку, две минуты моей жизни, о которых я, действительно, забыл.

— Занятная деталь! — сказал я вслух, стараясь, чтобы голос не дрогнул, а получилось даже неплохо, с лёгкой иронией. — Вы хорошо осведомлены о моих встречах! Расскажите, где вы находитесь и что у вас произошло, мы ведь для этого здесь собрались?

— Ты у последней черты, Андрей! Ты думаешь приземлённо и видишь только вершину айсберга. Но всё, о чём ты говоришь людям, находится гораздо глубже. Тебе кажется, что это игра и она будет вечной. Но это не игра и скоро ты это поймёшь. Ты сам не веришь в то, что говоришь, а стоило бы! Я преподам тебе урок и помогу, как ты говоришь всегда в своём шоу, всё проверить на себе!

Я всё ещё думал, что это какой-то розыгрыш и сценарий для этого звонка и подготовка линии, тщательно от меня скрывались. Может конкурентами, чтобы подставить и посмотреть на мои действия, а может друзьями, в шутку, но с той же целью.

- Одну секунду...

- Есть деревня... — сказал голос, будто не услышав меня.

— На севере, в Вологодской области. Десять домов, церковь, кладбище. Найти легко, дорога сама тебя приведёт. Заедешь в лес, а он уже не выпустит! Приезжай туда с женой, если, конечно, ты не боишься. Ты расскажешь там, перед камерой, всё, что ты делал все эти годы, о чём думал, что говорил. Всю правду. Может и твоей жене найдётся, что сказать! Вам друг другу есть что сказать. Только сейчас не надо расходовать свои слова на ненужную болтовню! Ты и так уже наговорил слишком много ненужного, пустого и лживого! Прибереги разговоры для более подходящего случая! Слова твои кончаются и скоро их не станет вовсе!

В этот момент свет в студии мигнул. Не погас полностью, просто на долю секунды просел, будто где-то за стенами кто-то переключил рубильник и тут же вернул обратно, и в этом провале темноты я успел увидеть лица зрителей в зале, застывшие в неправильных позах, будто их сфотографировали вспышкой посреди движения.

Свет вернулся, ровный, жёлтый, студийный, и всё стало как было. Наш техник Виталик потом клялся у себя за пультом, что палец с рубильника не убирал, что это, наверное, скачок напряжения в сети, старое здание, старая проводка, кто их знает эти щиты.

— Очень интересно! — сказал я в микрофон, уже собираясь с духом, потому что пауза после мигания света затянулась на пару секунд дольше, чем позволяет хронометраж эфира. — А что там, в вашей деревне, признаваться будет

удобнее, чем в студии? Атмосфера соответствует?

Скрип в трубке стал ближе. Это было странное ощущение, не поддающееся объяснению через технические характеристики линии. Обычно, когда человек говорит по телефону, звук приходит через компрессию, через микрофон в трубке, через передатчик, через студийный приёмник, и в этом звуке всегда есть некая дистанция, отпечаток пройденного пути.

А тут голос вдруг оказался так близко, будто старик стоял не где-то за десяток или сотню километров, а рядом со мной, дышал мне в самое ухо через гарнитуру, и от этого у меня по коже пробежало что-то похожее на сквозняк, хотя вентиляция в студии работала на постоянном режиме и никакого сквозняка там быть не могло.

— Приезжай! — повторил голос, и в этом слове было что-то очень терпеливое, как у человека, которому некуда спешить, у которого впереди вечность. — Ты обещаешь много всего на камеру, Андрей. Обещай и сейчас! Попробуй, хоть раз, сдержать слово!

Я отвёл гарнитуру от уха на полсекунды, коротким движением, будто поправляя, и снова прижал её, уже с той самой заготовленной улыбкой, которую держал в резерве для сложных моментов эфира. Холодок, пробежавший по позвоночнику я списал на кондиционер, на чужие нервы техника, на усталость от долгой смены. В голове уже крутилась мысль совсем другого порядка, привычная, рабочая мысль человека, который делает шоу: вот это отличный крючок. Загадоч-

ный старик, деревня на краю карты, требование признаться перед камерой, звучит как готовый сценарий следующего сезона, звучит как рейтинг.

— Хорошо, — сказал я в эфир, повышая голос ровно настолько, чтобы это прозвучало торжественно, а не испуганно. — Тогда назовите нам эту деревню? Пусть вся страна знает, куда мы едем?

Тишина в студии длилась дольше положенного, и я почувствовал, как этот зазор наэлектризовывает зал, как публика подаётся вперёд на своих креслах, ожидая, чем разрешится молчание. Я знал это чувство, любил его! Пауза — самый дешёвый и самый надёжный инструмент в этом ремесле, дороже любого спецэффекта, любой пиротехники под сценой.

— Хорошо! — сказал я, не дождавшись ответа и разворачиваясь корпусом к третьей камере, той самой, у которой красный огонёк горел ровнее остальных, значит, именно её сигнал сейчас шёл в эфир по всей стране. — Я приеду! С женой! Найду вашу деревню, где бы она ни была, и если там правда есть, что показать — я это покажу! Всё, что увижу своими глазами!

Я улыбнулся так, как улыбался тысячу раз до этого, чуть прищурившись, будто человек, которому только что предложили пари, и он его принимает не потому, что верит в выигрыш, а потому что уверен в своей неуязвимости. Свет над сценой лёг мне на скулы ровно, выигрышно, я почти чувствовал, как гримёрша за кулисами выдыхает с облегчением,

глядя на монитор.

— Если это реально, — продолжил я, поднимая палец, чтобы зал понял: сейчас будет ключевая фраза, та, которую потом нарежут на промо-ролики, — я первым скажу вам правду! Прямо здесь, в этой студии! Клянусь!

Зал взорвался аплодисментами, будто я произнёс не пустую формулу, а нечто действительно значимое, будто от моих слов зависело что-то большее, чем рейтинг за вечер. Кто-то в задних рядах свистнул, кто-то топнул, и этот звук покатился по студии волной, тёплой, живой, ровно той волной, ради которой я выходил на сцену уже пятый сезон подряд.

Я стоял в центре этого гула и чувствовал себя так, как всегда чувствовал себя в такие моменты, — уверенным, лёгким, будто вся эта конструкция из софитов, камер и чужих ожиданий держится именно на мне и больше ни на чём. Только на мне!

У меня мелькнула мысль:

«Курите бамбук «Экстрасенсы» на своём канале со своим ведущим Маратом!! Я вас сделал!!»

А потом трубка издала звук, короткий, скрежещущий, будто что-то жёсткое и неровное царапнуло по мембране микрофона, прежде чем связь оборвалась. Не щелчок отбоя, знакомый всем, кто хоть раз держал в руках телефон, а именно скрежет, будто трубку не положили, а провели по ней чем-то твёрдым, коротким движением, оставляя на ней царапину.

Гарнитура у меня в ухе пискнула коротким сигналом обрыва, и на этом всё закончилось, ровно, чисто, без последствий, и я даже не успел зацепиться мыслью за этот звук, потому что аплодисменты ещё гремели, и надо было держать лицо, держать паузу, держать финал.

Я снял гарнитуру эффектным жестом, будто ставя точку, и отдал её ассистентке, которая метнулась ко мне сбоку, вне поля зрения камер.

— Спасибо всем, кто был с нами сегодня! — крикнул я в зал, разводя руки, и зал ответил новой волной шума, а я уже видел краем глаза, как из-за камеры номер два мне показывает большой палец наш продюсер, Стас, полноватый мужик в вечно мятой рубашке, который за пятнадцать лет в этой профессии научился по одному взгляду на монитор определять, вытянет эфир рейтинг или нет.

Стас показал мне палец ещё раз, уже двумя руками, беззвучно артикулируя одними губами что-то вроде «золото», и я ответил ему таким же жестом, чувствуя, как по телу разливается то самое тёплое, почти наркотическое удовлетворение, которое приходит только после удачного эфира, когда знаешь, что цифры завтра будут хорошими, что клипы разлетятся по соцсетям ещё до утра, что кто-нибудь обязательно смонтирует нарезку с моим лицом крупным планом и подписью вроде «ведущий шоу принял вызов сумасшедшего старика в прямом эфире».

Свет над сценой начал гаснуть по частям, гасли софиты

по периметру, потом центральные, оставляя только дежурное освещение, и студия из яркой сказочной коробки превращалась обратно в помещение с проводами по полу и запахом пыли от старых кулис. Я стянул с воротника петличку, отдал звукооператору, размял шею, повёл плечами, ощущая, как из тела уходит адреналин эфира, оставляя после себя приятную усталость.

— Слушай, — окликнул я Стаса, подходя к нему через сцену, перешагивая через змеящиеся кабели, — а кто вообще этого старика «подогнал»? Молодец, кстати, кто бы ни был! Голос жуткий, дозвон рассчитал идеально, прямо в кульминацию влез!!

Стас посмотрел на меня с лёгким недоумением, тем взглядом, каким смотрят на человека, который спрашивает то, что и так должен знать.

— Какого старика?? — переспросил он, вытирая лоб платком. — Ты про звонок? Это не наши, Андрей. Мы ничего не подставляли, номер «левый», дозвон случайный шёл, у нас же линия, открытая на входящие, во время эфира.

— Ну да, ладно! — отмахнулся я, хлопнув его по плечу, всё ещё в том лёгком, самодовольном настроении, которое не позволяло словам продюсера всерьёз зацепиться за что-то внутри. — Кто бы ни придумал, скажи ему спасибо от меня. Отличный сценарный ход!

Я обернулся к звукооператору, стоявшему у пульта, тому самому Виталику, который позже будет клясться насчёт

скачка напряжения, и бросил через плечо, уже почти шутя:
— Виталик, ты хоть номер сохранил, с которого звонили? Может, ради интереса перезвоним, спросим, где деревня эта находится, раз обещал?

Виталик пожал плечами, не отрываясь от экрана, и лицо у него было такое, какое бывает у человека, который увидел что-то на мониторе и до сих пор не понимает, увидел ли на самом деле.

Я засмеялся, коротко, легко, и пошёл в сторону гримёрки снимать грим, совершенно не думая о том, что смех этот застрянет у меня в памяти как последний, произнесённый по-настоящему свободно.

В гримёрке пахло ацетоном и чужим тональным кремом, и пока девочка-визажист снимала с меня слои грима ватным диском, я всё крутил в голове голос старика, скрипучий, будто кто-то тянул ржавый гвоздь из доски. Хороший звук. Профессиональный. Кто-то потратился на обработку.

Стас появился в дверях, уже без пиджака, с телефоном в руке, и лицо у него было не такое, с которым продюсеры сообщают хорошие рейтинги.

— Андрей, я поднял сценарий, — сказал он, не здороваясь. — там нет звонка! Вообще нет! Ни в основном варианте, ни в запасном, - ни в каком!! Я лично два раза сценарий читал перед эфиром.

— Ну, то есть кто-то из линейных, решил сюрприз устроить! — я вытер лицо салфеткой, посмотрел на себя в зеркало, на уставшую, но довольную физиономию. — Молодец, чья бы идея ни была. Дай премию человеку!

— Я потому и спрашиваю, чья? — Стас сел на край гримёрского стола, не заботясь о том, что там разложены кисточки. — Никто не признаётся. Я всех обзвонил, режиссёра монтажной, редактора звонков, всех! Никто эту линию не готовил!

Что-то в его голосе «царапнуло» меня несильно, как царапает заусенец, о который случайно задеваешь пальцем и забываешь через секунду.

- Может конкуренты? Ты же знаешь сколько у меня завистников? Решили меня подставить таким вот образом?

Стас отмахнулся.

- Перестань! Какие конкуренты с твоим-то талантом, могут быть?? Женя Коломной? Я тебя умоляю!

— Значит, случайный дозвон! — сказал я. — У нас же линия, открытая на входящие, ты сам говорил. Кто-то из зрителей подгадал момент.

— Случайный дозвон не может знать твоё имя. — тихо сказал Стас.

Я замолчал на секунду, потом усмехнулся, потому что усмехаться было проще, чем думать дальше.

— Так у нас на баннере всё написано! Имя ведущего, название канала. Не бином Ньютона вычислить, что я Андрей

и что жена моя Кристина, у меня даже в Википедии фотка со свадьбы висит.

Стас не ответил, только покачал головой и вышел, а я ещё какое-то время сидел перед зеркалом, глядя на своё отражение и убеждая себя, что тревога, тонкая, как леска, которая вдруг натянулась внутри груди, это всего лишь послевкусие эфира, обычный адреналиновый спад, который бывает после любой сильной сцены.

В аппаратной было темнее и холоднее, кондиционер работал на полную, и Виталик сидел перед двумя мониторами, гоняя запись звонка туда-сюда, вслушиваясь в скрип на секундной отметке, будто это могло что-то объяснить.

— Смотри, — сказал он, не оборачиваясь, — я пробил номер через нашу станцию. Такого номера нет!

— В смысле, нет?

— В смысле нет в базе! Одиннадцать цифр, формат правильный, код региона совпадает, а самого номера не существует! Я даже к «сисадмину» ходил, он два раза перепроверил, говорит, такое иногда бывает, если номер заблокирован оператором давно, но тогда должна быть хоть какая-то запись, хоть архивная. А тут пусто. Будто звонок пришёл ниоткуда!

Он развернулся ко мне, и в свете монитора его лицо выглядело бледнее обычного, с той характерной растерянностью.

стью человека, который весь вечер пытался объяснить себе техническую неполадку и не смог.

— Может, спутниковая связь? — предположил я, хотя не имел ни малейшего понятия, о чём говорю. — Или через интернет звонили, через приложение какое-нибудь, вот номер и левый?

— Через приложение звук был бы другим, — сказал Виталик, — сжатие другое. А тут прям аналоговая линия, треск характерный, я такой треск последний раз слышал на кассетах у бабушки.

Я засмеялся, коротко, с наигранной лёгкостью, хлопнул его по плечу так же, как чуть раньше хлопал Стаса.

— Ну и отлично, значит, повезло! Технический глюк, зато какой атмосферный, будто нарочно под нашу тематику подгадали. Знаешь, сколько раз мы деньги платили спецам, чтобы такой звук сделать, а тут бесплатно случилось! Грех жаловаться!

Виталик не улыбнулся в ответ, только пожал плечами и вернулся к монитору, а я вышел из аппаратной с тем ощущением, которое бывает, когда пошутил, а шутка не зашла, и повисла где-то между людьми каким-то неудобным моментом.

Студия к тому часу опустела почти полностью, дежурный свет горел через одну лампу, длинный коридор от гримёрок к служебному выходу тянулся полосой полумрака, и звук моих шагов по бетонному полу отдавался гулко, как в пустом

складе.

Я шёл, доставая на ходу телефон, привычно листая ленту, где уже начали появляться первые обрезки эфира с моим лицом крупным планом, и почти не смотрел под ноги. И тут этот звук раздался снова, тот самый скрип, короткий, будто где-то за спиной медленно провернули несмазанную петлю.

Я остановился. Обернулся. Коридор был пуст, только дверь в техническое помещение чуть покачивалась от сквозняка, которого, впрочем, я не почувствовал ни на лице, ни на шее.

Несколько секунд я стоял, глядя на эту дверь, и что-то внутри, какая-то забытая детская часть, требовало подойти и проверить, что за ней?

Но я только усмехнулся себе под нос, тихо, без свидетелей, и сказал вслух, специально громко, чтобы услышать собственный голос в тишине:

— Петли смазать надо, а не старика по эфирам искать!

Слова прозвучали увереннее, чем чувствовалось внутри, и я пошёл дальше, ускорив шаг чуть больше, чем следовало бы человеку, который ни капли не испугался.

На парковке воздух был тёплым, майским, пахло асфальтом и шашлыком с соседней стройки, и это обыденность быстро смыла остатки того странного холодка из коридора.

Я сел в машину, откинулся на сиденье, набрал номер Кристины, слушая длинные гудки и представляя, как она сейчас сидит перед телевизором с бокалом вина и смотрит повтор

эфира.

— Крис, — сказал я, как только она взяла трубку, не дав ей вставить слово, — ты видела? Скажи, что видела? Там старик позвонил, реально жуткий голос, я на камеру согласился в деревню какую-то ехать, зрители обалдели, завтра это будет во всех пабликах!

- Он мне тоже звонил!

Я опешил.

- Как это? Что говорил??

В трубке повисла странная пауза, слишком долгая для человека, который просто отвлёкся на телевизор, и где-то за спиной у неё, там, дома, в тишине поместья, мне послышался тихий, едва различимый стук, будто кто-то или что-то один раз тяжело ударило по стеклу.

Глава 2

Кофе остыл, пока я разглядывала гараж через панорамное окно террасы. Три «Волги», перекрашенный «Москвич» цвета топлёного молока, немецкий кабриолет пятидесятых годов, который Андрей купил на аукционе и потом две недели рассказывал каждому гостю, сколько за него отдал, будто цифра сама по себе делала машину красивее. Утреннее солнце лежало на капотах ровным жёлтым слоем, и от этого весь ряд выглядел музейными экспонатами — не то, чем пользуются, а то, чем владеют.

Я отломила кусок круассана, не донесла до рта, положила обратно на тарелку. Есть не хотелось. Хотелось сидеть вот так, с прямой спиной, в тишине, которая с утра оказалась на удивление приятной. Домработница ушла ещё в семь, отпросилась к дочери в Балашиху, и дом стоял пустым, той особой пустотой, которую в другой день я бы назвала гнетущей, а сегодня назвала своей. Ни шелест тряпки по мрамору в холле, ни звука пылесоса за стеной, ни этого вечного «Кристина Сергеевна, вам ещё чаю?» через каждые двадцать минут. Только птицы за окном и далёкий гул то ли трассы, то ли газонокосилки у соседей. Дом умел быть большим и пустым одновременно, и в такие часы я понимала, зачем вообще люди строят такие дома — не чтобы жить, а чтобы иногда в них молчать.

Телефон лежал экраном вниз рядом с чашкой, и я минут пять честно держалась, прежде чем перевернуть. Ролик уже гулял по всем пабликам, обрезанный до сорока секунд, с субтитрами и красным восклицательным знаком в углу превью.

Я включила звук на середине, там, где скрипучий голос из трубки говорит что-то про деревню на севере, а лицо Андрея на экране медленно теряет ту самодовольную усмешку, с которой он выходит в эфир каждую неделю.

Я досмотрела до конца, до его «хорошо, я обещаю», сказанного тем особым тоном, каким он обычно уговаривает продюсеров на бюджет — уверенно, звонко, для зала.

Комментарии внизу шли лавиной: кто-то писал «мороз по

коже», кто-то — «постановка как всегда», кто-то требовал ссылку на деревню, чтобы съездить самим.

Я хмыкнула и отложила телефон. Ему бы только сценарий. Ему бы всегда сценарий, даже когда сценария нет. Восемь лет я смотрю, как он выходит перед камерой и включает эту особую, отрепетированную интонацию тревоги, будто по щелчку внутри у него стоит переключатель между «Андрей дома» и «Андрей в эфире». Дома он забывает выключить свет в ванной и спорит из-за счёта за химчистку. В эфире он — человек, к которому являются духи. Иногда мне казалось, что я вышла замуж не за человека, а за должность, и должность эта называется «ведущий шоу о паранормальном», а человек внутри неё, давно потерялся, если вообще когда-то был.

Вчера, когда я слушала его по телефону, что-то стукнуло за спиной, по стеклу террасы, один раз, тяжело, и я тогда обернулась резко, испугавшись без особой причины — соседский кот, ветка, мало ли что бывает вечером у дома с садом. Сегодня утром на этом самом стекле не было ни царапины, ни пятнышка, и мысль о вчерашнем стуке уже казалась глупой, надуманной, из тех, что рождаются от усталости и бокала вина после ужина.

На запястье звякнул браслет — тонкое золотое плетение с крошечным сапфиром, который я на людях называла подарком себе на день рождения. Куплен он был не мной. Подарен человеком, чьё имя я старалась не произносить даже мыс-

ленно, потому что мысли, как известно, тоже имеют свойство проговариваться, особенно когда лежишь без сна рядом с мужем и думаешь совсем не о муже.

Я повернула запястье так, чтобы камень поймал солнце, и на секунду позволила себе вспомнить гостиничный номер в Сочи, вид на море из окна и то чувство лёгкости, которое не имеет ничего общего с браком. Пусть. У каждого свои сценарии. У Андрея — эфирный, у меня — тот, что не покажут ни по одному каналу.

Я допила остывший кофе одним глотком, поморщилась от горечи, и мысль вернулась туда, откуда ушла, к ролику, к обещанию, данному на камеру перед миллионом зрителей. Раньше я злилась бы на такие выходы просто по-женски, по бытовому — вот опять он устроил цирк, опять его понесло ради лайков. Сегодня злость была другой, спокойной, расчётливой, будто я разглядывала не мужа, а документ, который вдруг оказался полезнее, чем я думала. Публичное обещание — это не то же самое, что обещание за ужином. Публичное обещание нельзя тихо забыть на следующее утро, списав на усталость. Оно висит в интернете, его пересылают, о нём напишут журналисты, если он не выполнит — а Андрей, при всей его самоуверенности, до смерти боится именно этого, что кто-то напишет «шарлатан не поехал», что рейтинги упадут, что учредительница посмотрит на него не тем взглядом, каким смотрела последний год. Значит, поедет. Не потому что верю рассказам стариков со скрипучими голо-

сами из телефонной трубке, а потому что месяц назад, при очередной ссоре про то, кто и куда тратит семейные деньги, Андрей опять начал этот разговор про отдельные счета, про какое-то там переоформление активов, будто готовился заранее к тому дню, когда я скажу «хватит».

Пусть готовится. Я тоже умею готовиться.

Я взяла телефон снова, открыла заметки, вбила несколько слов — не план, скорее, напоминание себе, чтобы вечером, когда он вернётся со студии довольный собой, не забыть первой начать разговор, пока он не успел придумать, как отвертеться. «Обещал людям, значит, едем!».

За окном по гравийной дорожке проехала машина садовника, колёса прошуршали и стихли, и дом снова провалился в ту утреннюю тишину, которая полчаса назад казалась мне подарком. Сейчас в ней было что-то другое, чего я пока не могла назвать, что-то, похожее на паузу перед репликой, которую актёр забыл выучить.

Гостиная встретила меня прохладой кондиционера и запахом лаванды, который распыляла раз в час автоматическая система, купленная Андреем для какого-то интервью — чтобы дом «дышал стилем», как он выразился тогда, с той интонацией, которой обычно продавал зрителям несуществующих призраков.

Я прошла мимо камина, где на каминной полке стояли рамки с фотографиями — мои, наши, свадебные. И остановилась. Одна рамка была развёрнута. Та самая, с венчания,

где я в белом, а Андрей улыбается своей самой отрепетированной улыбкой, той, что он держит для камер и для моей матери. Рамка смотрела не в комнату, а в стену, как будто кто-то нарочно повернул её, чтобы не видеть наших лиц. Я точно помнила, что утром она стояла как обычно. Я вытирала с неё пыль вчера вечером, я всегда протираю их по вечерам, привычка, оставшаяся от прежней квартиры, где пыль скапливалась быстрее из-за старых окон. Здесь окна новые, пластиковые, пыль почти не садится, но привычка осталась, и я помню, как проводила по стеклу тряпкой и смотрела на своё же отражение в нём, немного уставшая, немного довольная собой.

Я развернула рамку обратно. Стекло было холодным, холоднее, чем должно быть при работающем кондиционере, но я не стала об этом думать — просто поставила её лицом в комнату, как положено, и списала это на Валю. Домработница приходит по вторникам и пятницам, сегодня как раз пятница, могла зайти пораньше, протереть пыль и не так поставить обратно, с ней такое бывало — один раз она переставила все флаконы в ванной по цвету, решив, что так красивее, и я тогда полчаса искала свой любимый крем.

А может, сквозняк? Кондиционер гонит воздух прямо через эту стену, вентиляционная решётка ровно над камином, Андрей сам жаловался, что дизайнер поставил её не в том месте. Сквозняк мог качнуть рамку, она могла упасть и лечь как попало, а я, войдя, просто не так её запомнила.

Я усмехнулась своим же мыслям — вот, значит, на кого я похожа теперь, на героиню одного из этих его дурацких выпусков, где домохозяйка находит развёрнутую фотографию и уже видит в этом знак судьбы. Мне стало смешно и немного стыдно за саму себя, за то, что вообще задержалась взглядом на этой рамке дольше секунды.

На кухне я собиралась заварить свежий кофе взамен того, остывшего, однако меня привлёк шкафчик под мойкой, где хранились моющие средства и прочая хозяйственная мелочь. Дверца была приоткрыта на палец, ровно настолько, чтобы заметить. Этот шкафчик всегда на защёлке — детский замок, который мы поставили ещё три года назад, когда у нас жил кот, Мурзик, толстый рыжий разбойник, обожавший забираться в узкие места и грызть провода. Мурзика давно нет, мы отдали его моей сестре, когда стало ясно, что Андрей всё равно почти не бывает дома, а мне не хочется убирать за котом в одиночку, но защёлку так и не сняли — привыкли, руки не доходили.

Защёлка была не сломана. Она была просто отщёлкнута, аккуратно, будто кто-то знал, как она устроена, и открыл именно так, как это делают взрослые пальцы, а не когтистая лапа.

Я присела на корточки и заглянула внутрь. Ничего не пропало, всё стояло на своих местах — губки, средство для посуды, запасной мешок для пылесоса. Просто дверца была не заперта. По спине пробежал холодок, реальный, физиче-

ский, будто кто-то дунул мне в шею сзади, хотя вентиляция на кухне работала совсем в другую сторону. Мне на секунду показалось, что если я сейчас обернусь, то увижу кого-то, кто только что стоял здесь, рядом, и вышел за миг до того, как я вошла, — увижу край одежды, исчезающий за углом, или просто пустой коридор, ещё хранящий тепло чужого присутствия. Я обернулась. Коридор был пуст, залит обычным утренним светом, ковровая дорожка лежала ровно, ничего не колыхалось.

— Кристина, ты идиотка, — сказала я вслух, и собственный голос в пустой кухне прозвучал слишком громко, отчего стало ещё глупее.

Я застегнула защёлку обратно, послушала характерный щелчок и решила, что просто плохо помню, была она закрыта вчера или нет. Мало ли что творится в доме, если я сама забываю, куда кладу ключи от машины. Но чтобы окончательно себя успокоить, я взяла телефон и набрала Валью.

— Валь, привет, ты сегодня приходила уже? До обеда?

— Нет, Кристина Сергеевна, я же по вторникам и пятницам после трёх, вы сами так просили, чтоб вас утром не тревожить, — голос у неё был удивлённый, немного обиженный, будто её заподозрили в чём-то нехорошем. — А что-то случилось? Пропало что?

— Нет-нет, всё в порядке, — быстро ответила я. — Просто рамку на полке не там поставили, думала, ты заходила пыль протереть. Забудь.

Я положила трубку и постояла ещё немного посреди кухни, разглядывая шкафчик, дверцу которого закрыла минуту назад, будто она могла снова приоткрыться сама, у меня на глазах. Дом молчал. Обычная тишина большого дома в будний день — гудение холодильника, тиканье часов в столовой, далёкий шелест кондиционера. Ничего особенного. Просто тишина, в которой я вдруг стала слишком внимательно прислушиваться, а этого делать точно не следовало.

Я взяла телефон, открыла плейлист и включила первую попавшуюся песню, что-то бодрое, с ровным ритмом, лишь бы заполнить пространство звуком, лишь бы не стоять больше в этой пятиминутной тишине, разглядывая шкафчики так, будто он мог что-то рассказать. Музыка полилась из колонки на подоконнике, и дом сразу стал обычным, домашним, нормальным — тем самым помещением с ретро-гаражом и яхтой на реестре, за который я вышла замуж вместе с Андреем, если уж быть до конца честной с собой.

Я налила себе новый кофе, поставила чашку на стол и постаралась не думать о развёрнутой фотографии и об открытой дверце. Мало ли что бывает в больших домах. У каждого дома свои скрипы, свои сквозняки, свои детские замки, которые со временем расшатываются. Просто сегодня я слишком много думаю о том, что не показывают ни по одному каналу.

Музыка ещё играла, когда сверху донесли шаги. Я не сразу поняла, что это. Сначала показалось, будто ветка бьёт по крыше, или сосед затеял ремонт, хотя ближайший сосед у нас в трёхстах метрах и ремонтом не занимался уже год.

Потом звук повторился, и стало ясно: это не крыша. Это пол в гостевой спальне на втором этаже, прямо над кухней. Ровные, размеренные шаги, туда и обратно, как будто кто-то расхаживает по комнате, о чём-то думая, от окна до двери и назад.

Я убавила музыку кнопкой на телефоне, не выключая до конца, и застыла с чашкой в руке. Шаги не прекратились. Туда. Обратно. Пауза. Снова туда. В доме, кроме меня, никого быть не должно. Валя приходит после трёх, сама только что подтвердила. Андрей в студии, у него эфир, потом монтаж, вернётся вечером, если вообще вернётся, а не засядет в баре с продюсерами обсуждать, как ловко он выкрутился со стариком. Садовник — не сегодня. Охраны в доме нет, охрана снаружи, у ворот. У ворот.

Я поставила чашку и вышла на крыльцо, оставив дверь приоткрытой за спиной, будто боялась, что она захлопнется и отрежет меня от дома, если что-то пойдёт не так. Утро снаружи было обычным, слишком обычным: солнце, подстриженный газон, глянцевого бок «Мерседеса» Андрея в тени.

Будка охранника стояла у самых ворот, метрах в сорока, и я видела, как в окошке шевельнулась фигура.

— Игорь! — крикнула я, сложив ладони рупором. —

Игорь, ты сегодня кого-нибудь впускал?

Он высунулся, приложил руку козырьком, хотя солнце светило не в глаза, а скорее по привычке.

— Никого, Кристина Сергеевна. Весь день на месте, никто не приезжал, кроме курьера в девять, и тот у ворот посылку оставил, я не открывал.

— Точно никого? Может, отходил куда, в туалет там, покурить?

— Никак нет! — он даже слегка обиделся, судя по тому, как выпрямился. — Я на месте с семи утра!

Я кивнула, хотя он этого не мог разглядеть на таком расстоянии, и вернулась в дом. Дверь за мной закрылась с обычным щелчком замка, и в тишине снова стало слышно шаги наверху, всё те же, размеренные, будто их и не прерывали. Я стояла в холле, глядя на лестницу. Ковровая дорожка на ступенях лежала ровно, перила блестели после уборки, всё было так, как должно быть в доме, за которым следят. Только звук наверху не желал становиться нормальным, сколько я ни искала ему причину. Может, это гудит вентиляция в стене. Может, старая балка перекрытия ведёт себя странно после жары. Дом строили пятнадцать лет назад, дерево рассыхается, оно скрипит, дома вообще скрипят, живут своей жизнью, я читала об этом, кажется, в одном из глянцевого журналов, где рассказывали про особенности загородного строительства.

Шаги не были похожи на скрип дерева. Скрип — это точка, короткий звук, а тут был ритм, вес, интервал между ша-

гами, слишком человеческий, чтобы списать на балки.

Я поднялась на первую ступеньку. Потом на вторую. Ковёр глушил мои собственные шаги, только сверху продолжалось всё то же: туда, обратно, короткая пауза, будто кто-то остановился у окна посмотреть во двор, и снова в путь. На середине пролёта, там, где лестница поворачивала, свет мигнул. Я замерла с рукой на перилах. Лампочка под потолком, ещё месяц назад Андрей вызывал электрика, тот менял всю проводку в доме после того, как во всём крыле полдня не было света, обещал, что теперь на десять лет вперёд.

Лампочка мигнула ещё раз, коротко, будто моргнула, и снова загорелась ровно, как ни в чём не бывало.

— Отлично, — сказала я вслух.

Шаги наверху не прекращались. Я поднялась до конца пролёта, прошла по короткому коридору, мимо двери в кабинет Андрея, мимо ванной для гостей, и остановилась перед дверью в гостевую спальню. За ней было тихо. Абсолютно тихо, той плотной тишиной, которая наступает сразу после того, как звук обрывается, будто кто-то внутри услышал, что я иду, и замер.

Я толкнула дверь. Комната была пуста. Большая кровать под белым покрывалом, окно с задёрнутыми шторами, пропускающими полосу света ровно посередине пола, комод, зеркало над ним, отражающее часть комнаты и мою фигуру в дверях. Никого. Ни за креслом у окна, ни у шкафа, я даже заглянула быстрым взглядом под кровать, чувствуя себя

при этом до крайности глупо, будто снова стала девочкой, которая ищет чудовище в детской. Одеяло на кровати было смято. Не так, как бывает после того, как его просто плохо расправили. Оно лежало с явной вмятиной посередине, вытянутой, продолговатой, точно кто-то только что лежал здесь и поднялся секунду назад, а я застала уже пустую форму его тела в ткани.

Я подошла ближе, тронула покрывало пальцами. Ткань была обычной комнатной температуры, ни намёка на тепло, но вмятина держалась, не расправлялась сама собой, как должна была бы, если бы это было просто небрежной уборкой. И тогда я почувствовала запах. Сырой, землистый, тяжёлый, тот самый, что бывает в старом подвале после дождя, когда влага просачивается сквозь фундамент и застаивается там неделями. Здесь, наверху, в комнате с закрытыми окнами и работающим кондиционером, откуда взяться такому запаху, я не могла понять, но он был, плотный, обволакивающий, будто в комнату занесли ведро с землёй и высыпали прямо на ковёр.

Я обернулась к окну. Шторы задёрнуты, рама на вид цела, никаких щелей, кондиционер тихо гудел в углу, гоняя воздух, который должен был давно вытеснить любой посторонний запах, но не вытеснял. Мне вдруг очень захотелось выйти из этой комнаты. Я не стала разбираться дальше, не стала звонить Вале, не стала фотографировать смятое одеяло для доказательства самой себе, что не сошла с ума. Я вышла

в коридор, аккуратно прикрыла за собой дверь и, вынув из кармана связку ключей, которую всегда носила с собой на всякий случай, заперла спальню на ключ. Замок щёлкнул, и звук этот показался мне почти успокаивающим, тем самым обычным домашним звуком, который возвращал вещам их нормальные размеры.

Я спустилась по лестнице, на этот раз не глядя на середину пролёта, где мигал свет, и вышла на кухню. Музыка всё ещё играла тихонько из колонки, бодрая, ни к чему не обязывающая песня, и я сделала звук громче, почти до предела, лишь бы заглушить в голове мысль о шагах, которые прекратились ровно в тот момент, когда я взялась за ручку двери.

«Устала», сказала я себе, выливая остывший кофе в раковину и включая чайник заново. Просто устала, не спала толком уже третью ночь, с этим звонком старика и этими глупыми угрозами по телефону, вот и мерещится всякое. Дом старый, местами. Балки скрипят. Влага в фундаменте после дождей. Всему есть объяснение, если хорошенько подумать, если не давать себе распускаться, как последней истеричке из тех передач, что снимает Андрей. Чайник закипал, я стояла рядом, глядя в окно на ровный, освещённый солнцем двор, и очень старалась в это поверить.

«Нужно вымыть руки», подумала я. Откуда взялась эта мысль и в чём была причина, мне было неизвестно, только одно ощущение того, что я прикасалась к кровати на которой мог кто-то лежать, какой-то посторонний человек или

предмет, заставило меня подойти к раковине. Я тщательно вымыла руки и вытерла их насухо.

Чайник щёлкнул, отключаясь, и в наступившей тишине я услышала, как в гостиной, сама собой, ожила музыка. Не колонка на кухне — та всё ещё играла что-то бодрое из плей-листа, а телевизор. Большой, во всю стену, тот самый, который Андрей заказывал из Кореи и полгода хвастался перед гостями, что панель гнётся под нужным углом.

Я стояла посреди кухни с полотенцем и слушала, как из соседней комнаты доносится знакомая заставка нашего канала, тот самый электронный аккорд, который я ненавидела за три года записи так сильно, что просыпалась от него по ночам, если Андрей забывал выключить звук на телефоне.

Пульт лежал на журнальном столике. Телевизор не мог включиться сам, там стоял таймер, но таймер был выставлен на вечерние новости, не раньше семи, а сейчас едва перевалило за полдень.

Я вошла в гостиную с полотенцем в руках, будто оно могло меня от чего-то защитить, и остановилась на пороге. На экране шёл наш собственный выпуск, тот самый, двухлетней давности, про заброшенный дом лесника где-то под Кинешмой. Я его прекрасно помнила, потому что мы снимали интерьеры не в лесу, а в павильоне на Мосфильмовской, там же, где стены из гипсокартона красили под гниющее дерево, и художник по звуку три дня подбирал скрип половиц, потому что настоящие доски скрипели «недостаточно страшно». В

кадре стоял актёр, немолодой, с бородой, приклеенной чуть криво у левого уха, если приглядеться, я всегда это замечала, изображал старика из леса, того самого мифического сторожа, который якобы охранял границу между живыми и мёртвыми. Реплики ему писал сценарист Игорь, вечно жаловавшийся, что зрителю нужно попроще, без метафор. Я помнила текст почти наизусть. «Кто позовёт — тот и придёт», говорил актёр в оригинале, глядя мимо камеры куда-то в пустоту студии.

Сейчас он смотрел прямо. Не в объектив камеры, а будто сквозь экран, в комнату, туда, где стояла я с полотенцем, и голос его звучал иначе, ниже, с придыханием, которого не было в оригинальной озвучке, я слышала эту запись десятки раз на монтаже и знала каждую интонацию.

— Кристина! — сказал он.

Я не двинулась с места. Звук поплыл, голос актёра растянулся, исказился, стал похож на запись, прокрученную задом наперёд и потом обратно, и в этом искажении я расслышала слова, которых там точно не могло быть, потому что сценарий утверждали на летучке при мне, я сама вычёркивала лишний пафос красным маркером.

— Оба ко мне придёте!

Полотенце выпало из рук на ковёр. На экране актёр моргнул, слишком медленно, будто веки двигались отдельно от лица, и уголки его рта поползли вверх в улыбке, которой в записи не было и быть не могло, я эту сцену переклеивала лич-

но, там он должен был хмуриться, режиссёр требовал «больше угрозы через брови, а не через рот».

Я схватила пульт с журнального столика, руки не слушались, палец соскользнул с кнопки один раз, второй, наконец попал в «выключение», экран мигнул и погас. Но не сразу. Секунду, может, чуть больше, панель продолжала светиться ровным серым светом, без картинки, без звука, просто светилась, как будто что-то внутри неё досматривало кадр до конца, не желая обрываться раньше времени, и только потом, нехотя, экран стал чёрным зеркалом, в котором отражалась я сама, бледная, с растрёпанными после сна волосами, стоящая посреди своей же гостиной с занесённым, как оружие, пультом в руке.

Я отступила на шаг. Потом ещё на один. Телефон был в кармане халата, я вытащила его трясущимися пальцами, дважды промахнулась по значку, прежде чем набрать номер Андрея, и, пока шли гудки, стояла спиной к стене коридора, глядя на дверь гостиной так, будто оттуда сейчас должно было что-то выйти.

— Да, Кристин, я в монтажной, у нас через час эфир по повторам, что случилось?

Голос его был обычный, суетливый, с той раздражённой скороговоркой, с какой он всегда отвечал, если звонили не вовремя.

— Телевизор, — сказала я, и сама услышала, как дрожит мой голос, тонкий, чужой. — Андрей, он сам включился. По-

казывал ваш старый выпуск, про лесника, тот, из павильона, помнишь? И там... там он говорил что-то, чего не было в записи. Он сказал моё имя.

На том конце помолчали секунду.

— Кристин, ну какое имя, ты сама себя послушай.

— Я не сумасшедшая! — крикнула я в трубку, и голос сорвался на визг, эхом отдавшийся в пустом коридоре. — Я стояла и слышала это своими ушами!

— Ладно, ладно, тише. — он вздохнул, тем особым вздохом, каким разговаривают с капризным ребёнком. — Слушай, это старая проводка, я же говорил тебе, надо было электрика ещё в марте вызвать, там на панели контакт разболтался, оно иногда само включает последний канал по памяти, я сам видел один раз. А насчёт голоса — ты третьи сутки толком не спишь, дом большой, пустой, я понимаю, тебе одиноко, но не выдумывай.

— Я ничего не выдумываю!

— Кристин, ну послушай, что ты говоришь - голос из телевизора зовёт тебя по имени. Ты серьёзно хочешь, чтобы я в это поверил, я, который знает эту индустрию наизнанку?

Я стояла, прижав телефон к уху так сильно, что заболела скула, и смотрела в темноту коридора, ведущего к гостиной, где на месте выключенного экрана осталось лишь мутное серое пятно моего собственного отражения.

— Приезжай домой, — сказала я тихо. — Прямо сейчас!

— У меня эфир, я не могу всё бросить...

— Андрей, — оборвала я, и в этот раз голос уже не дрожал, — приезжай домой!!

Он приехал в начале двенадцатого, когда я уже перестала считать минуты и просто сидела на полу гостиной среди сброшенных с полок книг и разбитой вазы, которую подарила мне мама на свадьбу. Свет фар скользнул по потолку, слышался хруст гравия, хлопнула дверца машины, и я поднялась, отряхивая колени, будто это могло что-то исправить.

Андрей вошёл, на ходу расстёгивая пальто, и остановился в дверях гостиной так резко, что чуть не оступился на пороге.

— Господи, что тут произошло... ты убиралась, что ли, наоборот?

— Это не я, — сказала я, и голос вышел ровнее, чем я ожидала. — Это было так, когда я пришла из спальни.

Он посмотрел на осколки вазы, на книги корешками вверх, на кресло, сдвинутое на середину комнаты, будто кто-то отодвигал его, чтобы пройти, и в лице Андрея на секунду мелькнуло что-то настоящее, не то удивление, не то испуг, но тут же спряталось за привычную усмешку.

— Ты, наверное, во сне ходила. Бывает от переутомления, я читал.

— Не смей, — сказала я тихо. — Не смей мне сейчас говорить про переутомление.

Я поднялась с пола и подошла к каминной полке, где стояла шкатулка красного дерева, единственная вещь в этой комнате, которую я не позволила себе сегодня тронуть, хотя весь вечер именно на неё смотрела. Открыла крышку. Браслет лежал внутри, тонкий, с крохотными сапфирами, холодный на ощупь, который я носила весь день.

— Знаешь, что это?

— Кристина, я не в настроении для...

— Это подарок от Игоря Валентиновича, — сказала я, и я сама удивилась, как легко произнеслось это имя, будто я давно ждала момента бросить его вслух. — От юриста, с которым мы были в Сочи в прошлом году. Помнишь, ты был на съёмках, а я сказала, что еду к тёте в Анапу?

Он молчал. Только желваки заходили на скулах, и я впервые за долгое время увидела в его лице не режиссёра, не шоумена, а просто испуганного мужчину, который вдруг понял, что мир устроен не так, как ему казалось.

— Я не для того это говорю, чтобы ты меня простил или разлюбил! — продолжила я, закрывая шкатулку. — Я говорю, чтобы ты понял: я умею хранить секреты годами. Я умела прятать этот браслет от тебя двенадцать месяцев, ты ни разу не заметил. А ты не можешь сдержать одно слово, которое сказал перед камерами на всю страну.

— Это другое, — начал он, но я не дала ему договорить.

— Другое? Ты пообещал старику. Перед миллионами людей, Андрей. Я сидела здесь и смотрела, как ты киваешь в эту

треклятую камеру и говоришь «да, приеду, посмотрю своими глазами». А теперь ты сидишь в монтажной и делаешь вид, что ничего не было.

— Кристин, это же прямой эфир, там нужно было что-то ответить, я не мог просто повесить трубку...

— Значит, поедem, — сказала я. — или завтра весь город узнает, что твоё хвалёное шоу — это картон и склейка, что твой призрак лесника — актёр из массовой, а твой полтергейст — вентилятор за декорацией. Ты этого хочешь? Чтобы твоя жена дала интервью какому-нибудь желтому portalу?

Он смотрел на меня так, будто видел впервые, и на мгновение мне показалось, что в его глазах мелькнуло что-то непонятное, будто он вспомнил кого-то другого, не меня, а какую-то давнюю версию себя, которого тоже когда-то шантажировали правдой.

— Ты не сделаешь этого!

— Сделаю! — сказала я, и голос дрогнул, но я не позволила себе замолчать. — Или мы едем в эту деревню, разбираешься со стариком, с кем угодно, кто там звонил, и закрываешь эту тему раз и навсегда, или я подаю на развод. И заберу половину. Яхту, машины, счета, всё, что у тебя есть, Андрей. Ты же знаешь, у меня очень хороший адвокат.

— Кристина, ты же не серьёзно...

— Я абсолютно серьёзно!

Он опустилcя в кресло, то самое, сдвинутое на середину комнаты кем-то невидимым, и потёр лицо ладонями, и в

этом жесте была уже не усталость обычного вечера, а что-то похожее на панику, которую он старался задавить смехом.

— Ладно, ладно, — сказал он наконец, и голос его впервые за все эти дни прозвучал не как голос уверенного в себе шоумена, а как голос человека, которого застали врасплох. — Съездим. Посмотрим на этого старика, разберёмся, и ты сама увидишь, что там сарай, дед с козами и больше ничего. Довольна?

Я не ответила. Стояла и смотрела на разгромленную комнату, на осколки вазы, блестящие в свете люстры, и думала совсем о другом: о двух коротких визитах в клинику, о которых он никогда не узнает, о том, что дом, наверное, что-то знает про меня такое, чего не знает даже муж, и что вся эта комната, может быть, разгромлена не случайно, а именно за это. Мысль мелькнула и погасла, как спичка на ветру, и я просто кивнула, соглашаясь на его слова, будто это была моя победа.

Андрей уехал около полуночи, хлопнув дверцей джипа так, что звук отскочил от фасада дома и вернулся ко мне, стоящей на крыльце, глухим эхом. Сказал, что заедет в студию, разберётся со звонками, поговорит с продюсером насчёт логистики поездки, будто речь шла об очередной командировке для съёмок сюжета про снежного человека где-нибудь под Костромой.

Я смотрела на красные огни машины, пока они не растворились за поворотом аллеи, и только тогда поняла, что впервые за три года в этом доме останусь совсем одна на всю ночь. Дом ответил на это тишиной, слишком гнетущей для помещения в шестьсот квадратных метров. Обычно здесь что-то жило само по себе, гудел котёл в подвале, тикали часы в гостиной, шумел компрессор в винном погребе, но в ту ночь всё будто затаилось, и я поднялась в спальню под звук собственных шагов по паркету, которые казались чужими, слишком громкими для босых ног.

Я легла не раздеваясь, поверх одеяла, и минут двадцать листала телефон, ни на чём не задерживаясь взглядом, пока не поймала себя на том, что просто держу экран перед лицом, не читая.

Отложила его на тумбочку и уставилась в потолок, слушая, как за окном шелестит ветер в кронах старых сосен, которые Андрей когда-то не разрешил вырубать под ландшафтный проект, потому что «дорого пересаживать взрослые деревья».

И тут раздался стук. Тот же самый, что я слышала днём во время разговора с ним, — тяжёлый, ровный, будто кто-то бил по стеклу не костяшками пальцев, а всей ладонью, размеренно, три раза подряд, с одинаковым интервалом, словно отсчитывал что-то.

Я замерла, и первая мысль была совсем бытовой: ветка, ветер, старая яблоня под окном спальни, которую садовник

давно грозился спилить. Но яблоня росла с другой стороны дома, а окно спальни выходило на газон и дальше, за газоном, начинался лес, чёрной стеной обрезающий горизонт.

Стук повторился. Три удара, пауза, снова три. Я медленно поднялась с кровати и подошла к окну, держась чуть в стороне от штор, как будто это могло что-то изменить. Отдёрнула ткань резким движением, желая покончить с этим одним махом, увидеть ветку, кота, енота, что угодно обыденное, что позволило бы мне вернуться в постель и посмеяться над собой утром. За стеклом никого не было. Только газон, серебристый от росы под светом фонарей на подъездной дорожке, и дальше — тёмная кромка леса, неподвижная, как декорация.

Я уже собиралась опустить штору, когда взгляд зацепился за траву. Роса лежала ровным слоем, отражая свет, но вдоль неё тянулась полоса примятых стеблей, тёмная дорожка шириной в две ступни, идущая от опушки леса прямо к дому, к тому самому месту под окном, где я стояла. Она не заканчивалась у клумбы и не сворачивала к гаражу. Она шла именно сюда.

Я стояла, вцепившись пальцами в край шторы, и говорила себе, что это садовник, что это олень, что это лиса, что угодно с четырьмя лапами, оставляющее след в росистой траве, но след был один, не парный, не разветвлённый, а сплошной, будто что-то тащили или что-то прошло, ступая след в след само за собой.

В этот момент свет в доме погас. Не только в спальне, не только лампа у кровати, а весь дом разом, будто кто-то одним щелчком опустил рубильник на весь квартал: погасли фонари за окном, погас ночник в коридоре, погасли даже датчики на охранной панели у двери, чей зелёный огонёк я привыкла видеть краем глаза каждую ночь последние три года. Темнота встала непроницаемой стеной, без единого источника света, и в этой темноте я услышала собственное дыхание слишком отчётливо, слишком близко к собственным ушам.

Секунда, может две. Свет вернулся так же резко, как исчез, и всё вспыхнуло разом — лампа, ночник, зелёный огонёк на панели, будто ничего не происходило, будто это была просто короткая просадка напряжения, каких в загородном доме случается по несколько раз за грозовое лето.

Я стояла, всё ещё держась за штору, и слушала, как где-то в глубине дома щёлкает, оживая, холодильник на кухне. Я задёрнула штору до самого конца, проверила, чтобы между полотнищами не осталось ни щели, и подошла к двери спальни. Взялась за ключ, торчавший в замке с тех самых давних времён, когда мы только переехали в этот дом и я, помню, шутила с Андреем, что ключи в дверях — это архаизм, что мы не в коммуналке. За все эти годы я ни разу не повернула его, даже когда мы ссорились, и Андрей ночевал в гостевой, даже в ту зиму, когда в новостях писали про ограбления загородных посёлков. В ту ночь я повернула ключ дважды, прислушалась к глухому щелчку замка, и только после этого

позволила себе снова лечь.

Сон не шёл долго. Я лежала на боку, лицом к двери, и раз за разом прокручивала в голове слова, которые сказала Андрею несколько часов назад, — про эфир, про обещание, про адвоката и раздел имущества, — и с каждым повтором они звучали всё более пустыми, будто произносила их не я, а кто-то другой, стоявший рядом со мной в разгромленной гостиной и подсказывавший, что сказать. Мне казалось раньше, что заставить его сдержать слово перед стариком — это способ прижать его к стенке, обычный семейный шантаж, каким мы пользовались друг против друга годами.

Теперь, вспоминая тот стук в стекло и полосу примятой травы, идущую от леса прямо к дому, я впервые подумала, что это не Андрею придётся отвечать за глупость, брошенную в камеру, а нам обоим, и что тот, кто звонил в студию, знает про этот дом больше, чем должен бы знать случайный псих со скрипящим голосом.

Я закрыла глаза, стараясь не думать ни о клинике, куда ездила дважды тайно от мужа, ни о том, что дом, кажется, впервые за эти годы смотрит на меня в ответ. Холод в спальне не уходил до самого рассвета, хотя термостат в коридоре, как я потом проверила, всю ночь честно держал двадцать три градуса.

Монтажная студия гудела так, как гудит она только на следующий день после большого рейтинга — с той особенной, слегка истеричной энергией, когда все делают вид, что заняты делом, а на самом деле каждые пять минут заглядывают в телефон проверить циферки часов.

На большом экране в углу крутился график просмотров вчерашнего эфира, и линия на нём в момент звонка старика взлетала так резко, что Лёша из монтажной окрестил этот скачок «сердечным приступом Нильсена» — шутка ушла в чат отдела за полчаса.

Я прошёл через опенспейс, кивая на ходу, и от каждого «привет, старик, ну ты жжёшь» внутри что-то мягко проваливалось, будто под ногой подгнившая доска. Снаружи я улыбался ровно настолько, насколько нужно было улыбаться человеку, у которого вчера был лучший эфир в карьере.

— Дед подкинул нам сюжет сезона! — сказал я в курилке, хлопнув по плечу звукорежиссёра, который до сих пор пересматривал запись с открытым ртом. — Такой актёр сам не родится, его пойдёшь ещё найди и уговори.

— Так это подстава была? Чья? — спросил он, и в глазах у него было ровно то восхищение, за которое я, собственно, и делал эту программу все эти годы.

— Секрет фирмы! — я подмигнул и пошёл дальше, не дав себе ни секунды задержаться на этом вопросе, потому что ответа у меня не было. Была только запись голоса, треск в трубке и номер, которого, по словам оператора, не суще-

ствовало в природе.

В кабинете учредительницы пахло свежемолотым кофе и её духами — теми самыми, дорогими, с ноткой какого-то дерева, названия которого я никогда не мог запомнить.

Она сидела за столом, не вставая, и смотрела на меня поверх очков с тем выражением, с которым инвестор смотрит на подешевевшую акцию, вдруг решившую взлететь.

— Твой «Дед» сделал нам квартал рейтинга! — сказала она вместо приветствия. — Ты представляешь, сколько сейчас пишут про этот номер? Форумы, телеграм-каналы, три федеральных СМИ уже спросили комментарий!

— Я же говорил, — я развёл руками, стараясь, чтобы жест вышел лёгким, необязательным, — паранормальное продаётся лучше, чем секс!

— Мне не нужны твои афоризмы, мне нужен спецвыпуск, — она положила ладонь на стол, аккуратно, без стука, но так, что стало ясно: разговор уже не про шутки. — Экспедиция. Настоящая деревня, настоящий старик, если он вообще существует. Бюджет отдельной строкой, я готова закрыть глаза на перерасход, если ты действительно туда поедешь.

Я почувствовал, как у меня внутри что-то среагировало раньше слов — короткий холодок, будто дверь открыли в нетопленную комнату, — но улыбка уже была на месте, привычная, отработанная годами перед камерой.

— Само собой поеду! — сказал я. — Обещал в прямом эфире, миллион человек слышали. Куда я денусь!

— Смотри мне, — она наконец улыбнулась, и в этой улыбке было что-то почти материнское, хотя разница в возрасте между нами была меньше, чем можно было подумать по её тону. — если «сдуешь» эту историю, я тебя со свету сживу быстрее любого деда из леса!

— Всё под контролем! — ответил я, и слова прозвучали ровно, привычно, как визитная карточка, которую я произносил уже тысячу раз перед продюсерами, перед банками, перед женщинами. Только в этот раз, произнося их, я вдруг отчётливо, будто со стороны, услышал, до чего фальшиво они звучат — так фальшиво, что даже сам себе поверил бы с трудом, если бы услышал не от себя.

Телефон в кармане завибрировал. Не привычной короткой дрожью уведомления, а долгим, тягучим гудением, будто внутри трубки застряло насекомое. Я вытащил его почти машинально, ещё продолжая улыбаться учредительнице, и увидел на экране номер — набор цифр, слишком длинный для обычного мобильного, начинающийся с кода, которого я никогда не видел. Из динамика, прежде чем я успел поднести телефон к уху, донёсся тихий, но отчётливый звук — тот самый аналоговый треск, что был вчера в прямом эфире, будто где-то далеко прокручивалась старая магнитная лента.

— Извини, — сказал я учредительнице, глядя на экран чуть дольше, чем требовалось для обычного звонка. — спам, наверное.

Палец сам нашёл красную кнопку, и я сбросил вызов рез-

ким движением, каким смахивают со стола надоедливую муху. Звук студии — гул принтера за стеной, чей-то смех в коридоре, лёгкое дребезжание кофемашины — вернулся так, будто на секунду его выключали вместе со звонком.

— У тебя рука дрожит. — заметила учредительница, не отрывая взгляда от экрана своего ноутбука, и в голосе не было ни капли сочувствия, только сухое деловое любопытство.

— Кофе перепил. — я убрал телефон в карман, стараясь, чтобы движение вышло небрежным, и рука действительно чуть подрагивала, что бы я себе ни говорил про кофеин и недосып.

— Слушай, я поехал собираться. Дорога дальняя.

— Возьми оператора лучше! — крикнула она мне вслед, уже возвращаясь к экрану. — И жену свою красивую в кадр посади хоть раз, а то зрительницы жалуются, что видят только твою рожу.

- Я сам себе оператор!

Я вышел из кабинета с лицом человека, у которого всё под контролем, кивнул охраннику на входе, ещё раз пошутил с кем-то в лифте про то, что дед из леса теперь у меня в личных ассистентах по продвижению, и только оказавшись в машине, на пустой подземной парковке, позволил себе посмотреть на телефон снова. Пропущенный вызов. Номер тот же. Под ним — надпись, которой я не создавал и не сохранял в контактах: не набор цифр, а два слова, выведенные ровным, будто печатным шрифтом. «Ждём тебя, Андрей».

Кристина стояла у окна кухни с телефоном в руке, когда я вошёл, и по тому, как она держала его — обеими руками, прижав к груди экраном внутрь, будто пряча от постороннего взгляда, — я понял, что разговор с отцом закончился не лучше, чем начался. Он всегда ей звонит после каждого нового выпуска моего шоу. И, как правило, всегда одни и те же эпитеты и междометия в мой адрес. Скажем прямо. Не очень лестные.

Она положила трубку на столешницу медленно, аккуратно, словно та была из хрусталя, и лицо у неё оказалось того особенного оттенка бледности, который бывает у людей, услышавших что-то, чего они боялись услышать, но не признавались в этом даже себе.

— Ну что там папа? — спросил я, открывая холодильник просто чтобы занять руки, хотя есть не хотелось совершенно.

— Он сказал, что ты мошенник, — произнесла она ровным голосом, глядя не на меня, а куда-то в стену за моей спиной. — Что всё это вскрыется рано или поздно. Шоу, деньги, всё. И что я потеряю с тобой не только репутацию, но и последнее, что у меня есть.

Я закрыл холодильник резче, чем собирался.

— Отлично! Просто, прекрасно! У человека дочь пропадает в каких-то видениях, а он с ней про мою репутацию.

— Он беспокоится.

— Сомневаюсь! Он никогда обо мне не беспокоился, Кристина, — сказал я, и в голосе прорвалось то раздражение, которое копилось не первый день, а может, не первый год. — с того самого момента на нашей свадьбе, когда он спросил меня при всех гостях, на какие деньги я планирую тебя содержать. Помнишь? Вот это не забота, дорогая, это ревность старого богатого хрена, который до сих пор не может смириться, что ты не с нефтяным магнатом живёшь, а со мной!

— Не смей так про папу!

— А что я не так сказал? — я развёл руками, чувствуя, как знакомая уверенность, та самая, что помогала выкручиваться перед продюсерами и банками, снова натягивается на лицо, как маска. — Он что, звонил тебе спросить, как ты себя чувствуешь после того, что здесь творилось? Или сразу начал про мою репутацию и твои потери? Думаю, скорее второе! Старик не оригинален!

Кристина молчала несколько секунд, и в этой тишине было слышно, как гудит холодильник, как где-то наверху скрипит половица дома, привыкающего к вечерней прохладе.

— Он сказал, что видел похожие истории, — произнесла она наконец. — Люди, вроде тебя, обманывают, набивают карманы, а потом всё рушится в один день. И что я сама виновата, раз связалась с человеком, для которого правда — это то, что приносит рейтинг.

— Ну ещё бы!! Конечно, я виноват! Всегда я! Мне было бы даже обидно, если нашелся какой-то другой виновный!

— А кто, если не ты? — она развернулась ко мне резко, и голос сорвался на полтона выше. — Кто втянул нас в это всё, Андрей? Кто пообещал этому старику по телефону, что мы приедем в какую-то деревню, лишь бы поднять рейтинги на один вечер?

— Я думал, ты хочешь, чтобы я поехал, — процедил я. — Ты же сама вчера кричала, что, либо я выполняю обещание, либо разводимся.

— Потому что я не знаю, чего мне сейчас хотеть! — она почти кричала, и голос отразился от кафеля стен странным, неприятным эхом. — В доме кто-то ходил ночью. Телевизор говорил моё имя. В гостевой спальне до сих пор пахнет землёй, ты можешь мне объяснить, при чём тут развод?

Я замолчал, потому что объяснить действительно не мог, а врать в этот момент почему-то не хотелось, хотя врать было моей профессией последние несколько лет.

— Папа тут ни при чём, — добавила она тише, устало проведя ладонью по лбу. — Он ошибается насчёт многого, но насчёт того, что что-то не так, он не ошибается. Просто он думает, что не так — это ты. А не так — это наш дом!!

— Может, и я, — сказал я, и сам удивился, как легко это вышло, будто признание соскользнуло с языка без разрешения. — может, оба мы хороши. Ты вот отцу не рассказала, случайно, про браслет свой красивый? Про Игоря Валентиновича? Или это только я тут вру всем подряд, а ты у нас святая?

Кристина побледнела ещё сильнее, если это вообще было возможно, и на секунду мне показалось, что сейчас она разрыдается или, наоборот, швырнёт в меня чем-то тяжёлым, но она просто сжала губы плотнее и отвернулась к окну.

— Хотя бы я не вру миллионам людей каждую неделю!
— произнесла она глухо. — Я вру одному человеку. Тебе. И то не всегда.

— Ну спасибо, утешила!

— Не за что.

Мы стояли друг напротив друга в кухне, залитой мягким предвечерним светом, среди обычных вещей — недопитой кружки кофе на столе, магнита с видом Праги на холодильнике, детской куртки, которую мы так и не сняли с крючка в прихожей после того случая пять лет назад, хотя детей у нас не было и не будет, — и мне вдруг стало до странности спокойно от того, что мы наконец говорим друг другу вслух то, что оба знали давно и молчали.

Кристина открыла рот, будто хотела сказать что-то ещё, может быть, извиниться, может, продолжить обвинение, я так и не узнал, потому что за окном, там, где на крыше старого сарая и торчал ржавый флюгер в форме петуха, раздался протяжный скрип металла о металл. Долгий, тягучий, как будто кто-то медленно поворачивал петуха против часовой стрелки рукой.

Я невольно посмотрел в окно. Ветра не было совершенно, ни один лист на берёзе у забора даже не шелохнулся, воз-

дух висел неподвижно и душно, как перед грозой, которой не предвиделось. Флюгер скрипнул снова, чуть тише, будто останавливаясь на новом направлении, и Кристина, проследив за моим взглядом, тоже посмотрела в окно, и её лицо застыло тем особым выражением, которое появляется у человека, увидевшего то, чего не может быть, но что упрямо продолжает происходить перед глазами. Мы оба молчали, глядя на неподвижный сад и на петуха, который теперь смотрел клювом ровно в сторону нашего дома, хотя мгновение назад был повёрнут в другую сторону.

Флюгер за окном больше не скрипел, но я всё равно слышал его. Даже, не звук — эхо от звука, засевшее где-то в затылке, там, где обычно сидит мигрень после эфира.

Кристина ушла спать раньше меня, заперлась на ключ, хотя за все годы брака я не помнил ни одного случая, чтобы она запирала дверь спальни от собственного мужа.

Я сидел в кабинете один, свет от монитора отражался в тёмном стекле, за которым ничего не было видно, кроме моего же лица, бледного и слишком внимательного.

Телефон завибрировал в час сорок семь ночи. Номер снова состоял из одних нулей и решёток, тот же самый, что и во время эфира, тот, которого, по словам оператора связи, не существовало в природе. Я смотрел на экран. Три гудка, потом ещё два, и только на пятом взял трубку, потому что

молчать дальше было страшнее, чем ответить.

— Не спишь! — сказал голос.

Не спросил — констатировал, будто заглянул в окно и увидел меня за столом.

— Что вам нужно? — сказал я, стараясь звучать так, как звучал бы в эфире перед скептически настроенным гостем студии, ровно и чуть насмешливо, но голос предательски дрогнул на последнем слове.

— Тебе напомнить, что ты обещал? Или ты, Андрюша, из тех, кто помнит и без напоминаний, просто делает вид, что забыл?

Меня никто не называл «Андрюшей» с детства, разве что покойная бабушка, и от этого уменьшительного имени в чужом рту по спине прошёл холод, будто кто-то раздел меня до нижнего белья и разглядывал в упор.

— Слушайте... — начал я, но старик перебил, и голос его вдруг сделался ближе, будто он придвинулся к самому микрофону где-то на своём конце.

— «Самому бы кто подал! — произнёс он медленно, растягивая каждое слово. — Такие как ты притворяются бедными, а сами, наверное, в особняках живут». Так ты сказал ему, у метро? Тому, с картонкой? Помнишь?

Я почувствовал, как в груди что-то оборвалось и покати-лось вниз, минуя желудок, прямо в колени. Этого никто не мог знать. Возле метро я был один, ранним утром, без съёмочной группы, без свидетелей — просто шёл на работу и

бросил через плечо человеку с картонной табличкой «подайте на еду» ту самую фразу, слово в слово, и тут же забыл об этом.

— Кто вам рассказал? — выдавил я, и собственный голос показался мне чужим, тонким, совсем не тем, каким я говорю с продюсерами.

— Никто не рассказывал. Я был там.

Я промолчал, потому что не нашёл, что на это ответить, а тишина в трубке стала плотной, почти осязаемой, как вата, набитая в уши.

— Ты думаешь, ложь твоя — это только декорации? — продолжил старик. — Актёры, которых ты называешь очевидцами. Дым машины, которую твои ребята зовут «эктоплазмой». Голоса, записанные заранее и подложенные в микрофон во время съёмки. Как ты платишь бабке из деревни под Тверью за то, чтобы она рассказывала про упыря, которого сама придумала за твои же деньги? Я думаю, зрителям твоим будет интересно узнать, из чего сделан каждый твой выпуск!

— Хватит... — сказал я тише, чем хотел.

— Или как ты уговорил ту девочку с ДЦП изобразить одержимость перед камерой, а после эфира сказал ей, что она молодец, и заплатил три тысячи рублей.

Я закрыл глаза. В кабинете стало жарко, хотя кондиционер работал ровно, я слышал его гудение, и всё равно по вискам потёк пот, скатываясь за воротник.

— Чего вы хотите? — спросил я наконец, отбросив всякую попытку держать лицо. — Денег? Назовите сумму, я переведу сейчас же, любую. Хотите эксклюзив — я дам вам эксклюзив, отдельный выпуск про вас лично, реклама на весь федеральный канал, я всё устрою, только оставьте нас в покое!

На том конце что-то было похоже на смех, но не смех, скорее звук, с которым ломается сухая ветка под сапогом, короткий и хрусткий.

— Ты уже обещал! — сказал старик. — Ты дал слово!

— Я могу дать другое слово, — торопливо перебил я, хватаясь за эту фразу, как за перила на скользкой лестнице. — публично отменю, скажу, что был неправ, извинюсь перед вами в эфире, чего вы ещё хотите??...

— Ты обещал приехать, — повторил голос, и в нём не было ни злости, ни угрозы, только усталое, почти скучающее терпение взрослого, говорящего с ребёнком, который в третий раз спрашивает то же самое. — И ты приедешь. Я выбрал именно тебя! Спросишь почему? Андрей, ты нарушил все смертные грехи и заповеди и стал мне интересен. Осталось совсем немного! Ты сам всё проверишь на себе. Хоть один раз. И может тогда поймёшь хоть что-то в этой жизни!

Я не выдержал и заорал в трубку не взирая на позднее время и дав волю эмоциям:

- Какие грехи?? Какие заповеди?? Кто ты такой, чтобы говорить мне про это?? Кто ты такой, вообще, чтобы судить

меня?? Ты, «тварь дрожащая» и прав не имеешь!! А я имею!!
Понял, сука??? Мне стоит только захотеть и тебя найдут, отхерачат битами и утопят в реке с бетонным тазиком на ногах!!

Связь оборвалась без гудков отбоя, просто исчезла, экран телефона показал ноль секунд разговора, будто звонка не было вовсе.

Я держал трубку у уха ещё мгновение, не решаясь опустить руку, и в этой мёртвой тишине эфира — там, где должно было быть просто ничего, — я расслышал дыхание. Тихое, ровное, слишком близкое. Не из динамика доносящееся, а откуда-то рядом, будто кто-то стоял у меня за спиной, у самой шторы, и терпеливо ждал, пока я обернусь. Я обернулся. В кабинете никого не было, только штора чуть покачивалась, хотя окно было закрыто, и я сам его закрывал сегодня утром.

Где-то глубоко в душе я пожалел о сказанном. Однако, бокал виски помог мне забыть об этом очень быстро.

Я досчитал до десяти, поправил галстук перед зеркалом гардеробной — оно не соврало, лицо в нём было бледнее обычного, но, вполне, узнаваемо моё, — и вышел в опенспейс с тем самым лицом, которое зрители видят в заставке: уверенным, слегка усталым от собственной популярности.

Женя Коломной ждал у ресепшена, листая что-то в теле-

фоне с видом человека, который уже репетирует, как будет рассказывать друзьям про повышение. Двадцать шесть лет, идеальная щетина, голос поставлен на курсах дикции — продюсеры пророчили ему моё кресло ещё с прошлой осени, и я знал это лучше самого Жени.

— Есть минута? — спросил я таким тоном, будто минута у меня и правда была, а не тридцать секунд между двумя звонками с того света.

— Конечно, Андрей Сергеевич.

Мы сели в переговорной, я разложил перед собой блокнот, хотя писать ничего не собирался — жест для убедительности, привычка со времён, когда я ещё сам верил, что режиссура начинается с бумаги.

— Слушай меня внимательно, — сказал я. — Мы едем с Кристиной на север, в деревню эту, будь она неладна. Ты будешь вести эфир отсюда, я буду присылать материал по мере съёмки.

— Прямо полноценное путешествие? — Коломной ожилился так, будто ему предложили не проект, а долю в компании.

— Полноценное! Дорога, лес, деревня заброшенная, всё как ты любишь. Монтируйте красиво — закат, туман, вот это всё. Дай себе волю с музыкой, зрителю нужен саспенс, а не документалистика.

Я говорил и слышал сам себя со стороны — голос звучал ровно, профессионально, будто снаружи меня ничего не ка-

салось, будто два часа назад я не стоял в кабинете с трубкой у уха, вслушиваясь в чужое дыхание за шторой. Внутри у меня уже жил план, аккуратный, как коммерческое предложение: доехать до опушки этого проклятого леса, снять пару кадров с внедорожником на фоне мрачных деревьев, может быть Кристину крупным планом, испуганную, красивую в свете фар, и повернуть обратно. Пообещал приехать — приеду. Про то, что придётся войти внутрь, зайти в самую деревню, старик ничего конкретного не говорил. Формальности решают юристы, а форма эфира — я сам, и никто не проверит, куда именно доехал внедорожник.

— А сами вы там что делать будете? — спросил Женя, и в вопросе не было подвоха, только детское любопытство человека, который ещё верит, что в этой профессии бывают настоящие приключения.

— Проверим на себе! — усмехнулся я, взял с полки старый, подаренный мне, кассетный диктофон, из тех, что валялись в реквизите ещё с девяностых, и повертел в руках, будто оценивая вес. — Возьму эту штуку с собой. Раритет! Для атмосферности. Смартфон сядет через день без розетки, а этому хоть бы что, батарейка продержится неделю.

Я не сказал Коломному, зачем на самом деле беру диктофон. Просто рука потянулась к нему раньше, чем мысль оформилась, будто вещь сама вспомнила про меня.

В коридоре, за дверью переговорной, слышался разговор двух звукооператоров, тех, что монтировали вчерашний

эфир. Один из них, Толик, курил у окна и жаловался напарнику голосом человека, которому испортили выходной:

— Я говорю тебе, странно это. В эфире голос как голос, старика этого, а на исходнике, на записи — там как будто два накладываются. Один вроде тот же, а другой снизу, тише, вообще без слов почти, вроде мычит просто.

— Микрофон барахлит. — лениво отозвался напарник.

— Да не барахлит, я проверял на трёх дорожках! — не унимался Толик. — Слушай, там ещё дыхание какое-то есть, прямо на грани слышимости, будто вплотную к микрофону кто-то дышал.

Я прошёл мимо, не замедляя шаг, коротко кивнув обоим, будто спешил на важную встречу.

— Толик, дожимай монтаж, вечером нужно сдать! — бросил я через плечо, и голос мой звучал так же ровно, как минуту назад с Женей, разве что где-то в груди, под галстуком, стало холоднее на градус-другой, будто кондиционер в коридоре работал сильнее, чем в кабинете. Я не стал спрашивать, что именно он слышал на своих трёх дорожках. Не хотел знать. Диктофон в кармане пиджака оттягивал ткань неожиданно тяжело для такой маленькой вещи.

— Значит, план такой, — сказал я Жене, вернувшись в переговорную и захлопывая блокнот, хотя не написал в нём ни строчки. — ты держишь студию, я держу всё, что связано с этой экспедицией. Красивая картинка, немного мистики, зритель в восторге, рейтинги в шоколаде. Проще некуда!

Коломной кивнул с энтузиазмом человека, которому только что подарили карьеру, и я улыбнулся ему в ответ — широко, привычно, той самой улыбкой, что смотрит с рекламных баннеров канала, — и ни один мускул на моём лице не выдал, что где-то за этой улыбкой я уже считаю часы до момента, когда можно будет развернуть машину и сказать всем, что обещание выполнено.

Дом уже спал — если можно назвать сном, то состояние, в котором находится большое поместье ночью, когда все датчики движения работают исправно, а хозяин всё равно проверяет каждую комнату, будто от этого зависит его жизнь.

Кристина легла в десять, сославшись на голову, и я слышал через дверь, как она дважды провернула ключ в замке. Я не стал стучать.

Внизу, в кабинете, на столе лежала разложенная по пакетам техника: две камеры, штатив, запасные аккумуляторы, коробка с батарейками разного калибра и старый диктофон «Олимпус», который я таскал с собой ещё с первых съёмок, тот самый, с потёртой кнопкой записи и треснувшим стеклом индикатора, который валялся на полке в монтажной.

Я взял его в руки просто чтобы занять себя, чтобы не думать о том, как жена смотрела на меня во дворе. Вставил новую батарейку, щёлкнул крышкой отсека. На кассете внутри — новой, только что распакованной, ещё пахну-

щей магнитной лентой и заводской смазкой, — оставалось проверить, крутится ли лентопротяжный механизм. Я нажал «play», просто чтобы услышать привычное шипение пустой плёнки. Плёнка не была пустой. Секунды три или четыре что-то шелестело сквозь динамик — не шум ленты, а голос, приглушённый, будто говорящий стоял в соседней комнате и обращался не ко мне, а к кому-то ещё. Слов я не разобрал. Запись оборвалась сама, кнопка стоп не срабатывала, но звук прекратился, будто ему хватило этих секунд.

— Заводской брак, — сказал я вслух, и звук собственного голоса в пустом кабинете показался мне неуместно громким.

Я перемотал плёнку назад, до щелчка счётчика на ноль, и нажал «play» снова. Шёпот повторился — тот же промежуток, та же интонация, только теперь я расслышал больше и сразу пожалел об этом. Голос был мой. Не похожий, не имитация — мой собственный голос, с той же хрипотцой после долгого эфирного дня, с той же манерой произносить слова, которую отмечали монтажёры на студии. Он произносил слова, которых я никогда не говорил вслух, даже наедине с собой: «Я знал, что она мне врёт. Я знал давно».

Я перемотал ещё раз. Прослушал в третий. На третий раз фраза звучала иначе, будто плёнка успела состариться за те секунды, что я держал палец на кнопке, — тише, глуше, словно голос отходил от микрофона внутри самого корпуса кассеты. Руки у меня похолодели раньше, чем я успел придумать этому объяснение. Это странно устроено — тело пони-

мает быстрее рассудка, рассудок ещё ищет причину, а пальцы уже сжимаются, уже не хотят прикасаться к вещи.

— Плёнка, наверно, бракованная! — сказал я снова, теперь тише, будто боялся, что меня услышат наверху. — Заводской остаток размагничивания. Бывает.

Объяснение звучало убедительно ровно до того момента, как я попытался вспомнить хоть один случай в своей двенадцатилетней практике, когда заводской брак копировал бы интонации хозяина устройства.

Я нажал на кнопку извлечения кассеты, вытащил её, покрутил в пальцах, разглядывая ровные бобины ленты сквозь прозрачное окошко корпуса — ничего необычного, обычная маркировка, обычный завод, обычная партия, я даже вспомнил магазин на Кутузовском, где три месяца назад, каким-то чудом увидел упаковку таких кассет для этого древнего диктофона и купил её.

Я вставил новую кассету — из той же упаковки, — прокрутил вперёд немного, нажал «play». Тишина, ровное шипение чистой ленты, ничего лишнего.

Убедил себя, что дело было в старой кассете, отложил её в сторону, отдельно от остальных, и убрал диктофон в дорожную сумку рядом с блоком питания, туда, где ему предстояло провести следующие несколько дней. Руки, застёгивая молнию, слушались плохо, пальцы соскальзывали с бегунка дважды, прежде чем сумка закрылась.

Свет в кабинете погас. Не мигнул, не потускнел постепен-

но, как бывает при перепаде напряжения, — просто исчез на долю секунды, оставив меня в темноте настолько полной, что я успел услышать собственное дыхание, и тут же зажёгся снова, будто ничего не случилось, лампа над столом светила так же тепло и ярко, как секунду назад.

Я стоял неподвижно, ожидая повторения, как ждёшь второго удара грома после первого, но больше ничего не произошло. Дом молчал привычной тишиной большого пустого помещения ночью — тиканье часов в коридоре, гул холодильника где-то на кухне, отдалённый скрип половицы, который я слышал здесь тысячу раз и всегда объяснял усадкой фундамента. Именно эта тишина, обычная, ничем не нарушенная, испугала меня больше, чем сам скачок света. Свет мигал так же, в ту ночь, когда Кристина рассказывала мне про голос из телевизора, называвший её по имени, и я тогда усмехнулся, сказал что-то про старую проводку, про экономию на электрике, которую советовал ещё прораб.

Я посмотрел на сумку у двери — тёмный вытянутый силуэт на светлом паркете, ремень свисает набок, молния застёгнута до половины, потому что я так и не довёл дело до конца. Внутри лежал диктофон с новой, чистой кассетой, и рядом, отдельно, та, первая, которую я не решился выбросить и не решился взять с собой, а просто оставил на краю стола, будто расстояние в полметра могло что-то значить. Я хотел сказать себе что-нибудь привычное, какую-нибудь фразу для внутреннего употребления, из тех, что всегда находились у ме-

ня наготове на любой случай жизни, — про совпадения, про усталость, про нервы жены, передававшиеся мне через воздух дома, — но фраза не складывалась.

Я стоял в кабинете, освещённом ровным жёлтым светом, смотрел на сумку у двери и впервые за вечер не нашёл слов, которыми можно было бы объяснить самому себе то, что я только что видел и слышал.

Двор поместья пропах бензином раньше, чем я успел допить кофе. Женя — не тот Женя из студии, а водитель, тоже Женя, у меня их развелось слишком много за последние годы, — грузил в багажник «Лэнд Крузера» палатку в тугом чехле, канистры и генератор, который стукнулся о бампер с металлическим звоном, разнёсшимся по всему участку, будто во дворе церкви ударили в колокол.

— Аккуратнее, там оптика, — крикнул я, хотя оптика лежала в другом углу багажника, завёрнутая в плед, и генератор ей не грозил ничем.

Кристина стояла у крыльца со списком в руках — настоящим, бумажным, хотя у неё в телефоне были заметки на любой случай жизни, — и водила по строчкам ручкой с таким сосредоточенным лицом, с каким обычно проверяют контракты перед подписью.

— Аптечка, — говорила она вслух, отмечая галочкой, — спички в непромокаемом пакете, три коробка, я положила

три, на случай если один отсыреет. Фонарь, запасные батарейки к фонарю отдельно от батареек к камере, чтобы не перепутали. Термобельё, две пары носков сверх нормы.

— Мы на пару дней едем, а не на зимовку, — сказал я, не отрываясь от диктофона: крутил в руках колёсико перемотки, проверял, жива ли батарейка, вставленная ещё вчера.

— На пару дней, — повторила она без вопросительной интонации, но так, что стало ясно: вопрос там всё-таки был, просто спрятан внутри утверждения.

Я не поднял глаз. Проверил объектив на камере, протёр его рукавом, хотя пыли на нём не было, положил обратно в кофр. В голове у меня уже стоял монтаж: подъезжаем, я говорю в камеру что-то в духе «вот они, легенды, которые пугают взрослых людей», хожу между разрушенных домов минут пятнадцать, желательно на закате, свет золотой, тени длинные, потом короткий эфирный стендап у якобы церкви — и обратно, в машину, домой, в студию, монтаж, победа. Два дня. Максимум три, если дорога окажется хуже, чем показывает навигатор.

— И всё-таки, как надолго мы едем? — спросила Кристина, откладывая список на капот и глядя на меня так, что мне пришлось найти себе дело у заднего стекла, будто там был что-то не в порядке.

— Как получится! — сказал я, не поворачиваясь. — Место незнакомое, дорога незнакомая. Приедем — сориентируемся.

— Ты же говорил, два дня?

— Я и говорю, два дня. Плюс-минус.

Плюс-минус повисло в воздухе тяжелее, чем генератор в багажнике. Я почувствовал, как она смотрит мне в затылок, и заставил себя не оборачиваться, будто на кону было что-то важнее взгляда жены во дворе собственного дома.

— Я звонила нотариусу! — сказала она вдруг совсем другим тоном, деловым, отрывистым, каким говорила по телефону с поставщиками, когда занималась ремонтом дома три года назад. — На всякий случай. Уточнила насчёт совместно нажитого. Просто, чтобы знать.

— Зачем тебе это сейчас? — я всё-таки повернулся, но смотрел мимо неё, на ворота, будто ждал ещё одну машину.

— Чтобы ты помнил, что если в последний момент решишь развернуться и всё бросить — я не разведусь молча, Андрей! Я разведусь громко и заберу половину! Дом, машины, яхту эту твою дурацкую, которая качается на пристани без дела с прошлого лета.

— Я никуда не разворачиваюсь! — сказал я, и голос прозвучал ровно, привычно, с той самой уверенностью, с какой я обещал старику в прямом эфире то же самое три недели назад.

Она ничего не ответила, только снова взяла список и вычеркнула ещё одну строчку, слишком резко для галочки, будто хотела продырявить бумагу насквозь.

Я убрал диктофон во внутренний карман куртки, туда, где

он лежал ещё в студии, оттягивая ткань неожиданной тяжестью, и подумал, что если всё пойдёт по плану, эта поездка станет лучшим эпизодом сезона: настоящая тревога на лицах, настоящая усталость в голосе — и ни грамма настоящей опасности. Мысль показалась мне разумной.

Женя захлопнул багажник, вытер руки о комбинезон и кивнул мне, показывая, что всё загружено.

Глава 4

Я выставил камеру на крыльцо, прислонил телефон к перилам, выровнял кадр так, чтобы в него попал фасад дома — колонны, которые я заказывал в Италии, крышу из натуральной черепицы, газон, подстриженный позавчера специально под съёмку, — и нажал запись.

— Итак, друзья, — начал я, широко улыбаясь объективу, — вы просили реальности — вы её получите! Не постановочные крики в павильоне, не актёры с накладными зубами, а настоящая экспедиция в самое сердце русской глубинки, туда, где, по слухам, до сих пор не ступала нога цивилизации!

Голос звучал ровно, я даже сам себе понравился на секунду, интонация легла привычно, как старое пальто на плечи.

Я сделал паузу для монтажа, повёл подбородком, представил, как это будет смотреться с подложкой тревожной музыки, с титром внизу «День первый».

— Шоу «Проверено на себе» снова на всех видео и аудио

платформах России!!

За спиной хлопнула дверца багажника. Я обернулся в пол оборота, не выключая запись, и увидел, как Кристина затаскивает в машину последнюю сумку и, почти, заталкивает её коленом, чтобы крышка закрылась. Волосы собраны в хвост, темные очки, хотя солнце ещё не поднялось толком. Она не посмотрела в мою сторону, хотя камера стояла так, что промахнуться мимо неё было сложно.

— Крис, подойди, скажи пару слов зрителям! — позвал я тем самым голосом, которым звал её на прошлых съёмках, с лёгкой театральной просьбой в нём.

— У меня руки заняты! — ответила она, не поднимая головы, и захлопнула багажник сильнее, чем требовалось.

Я не стал настаивать, хотя внутри что-то дёрнулось, короткое, неприятное. Со вчерашнего вечера, после звонка отцу, который длился сорок минут за запертой дверью спальни, она говорила со мной короткими фразами, будто экономила слова на какой-то более важный разговор, который держала при себе.

— Окей, снимаем камеру и начинаем движение! — сказал я, обращаясь уже скорее к себе, выключил запись на телефоне, поставил его заряжаться от прикуривателя и уселся на водительское место.

Кристина устроилась рядом, пристегнулась, достала из сумочки маршрут, распечатанный ещё вчера на принтере в кабинете, помятый уже на сгибе.

— Через Вологду, потом на Тотьму, дальше по грунтовке до поворота на Елань, а оттуда, — она сверилась с листом, — дальше только навигатор должен вести, там дорог почти нет на картах.

— Отлично! — кивнул я и снова потянулся к телефону, включил запись заново, но уже направил камеру на приборную панель, на навигатор, голосом добавил, — слышите, друзья, вот она, настоящая экспедиция! Карты заканчиваются там, где начинается легенда!

Фраза вышла красивой, я мысленно отметил, что надо будет сохранить этот дубль, может, даже вынести в анонс. Я поймал взгляд Кристины, и в этом взгляде не было ни одобрения, ни насмешки, только усталость, которую она не потрудилась скрыть.

Про себя я уже прикидывал другое. Деревня — это крайняя точка сюжета, но ехать до самих домов или что там будет, вовсе не обязательно. Опушка леса, красивые кадры тумана между стволов, пара тревожных планов с дрожащей камерой — и в обратный путь, пока не стемнело. Старик хотел видеть меня там, но старик — это голос по телефону с несуществующего номера, а я — человек на внедорожнике, у которого есть право развернуться там, где заблагорассудится.

План грел меня больше, чем кофе с коньяком после морозной прогулки, и я держал его при себе так же крепко, как держал раньше сценарии шоу — никому не показывая до эфира. Диктофон лежал на панели, между навигатором

и солнцезащитными очками Кристины, маленький, серый, с потёртой кнопкой «play».

Я потянулся к нему, хотел включить, проверить батарейки перед дорогой, привычка, въевшаяся за годы съёмок — но рука замерла в сантиметре от корпуса. Голос с кассеты вчера вечером. Мой собственный голос, произносящий фразу про ложь Кристины, которую я никогда не говорил вслух, ни ей, никому бы то ни было. Я тогда убедил себя, что дело в старой ленте, в заводском браке, в чём угодно, но рука сейчас помнила этот звук лучше, чем голова.

— Ты чего «завис»? — спросила Кристина, пристёгивая ремень потуже.

— Ничего, — я убрал руку, повернул ключ зажигания вместо этого, мотор завёлся с ровным гулом. — проверяю технику перед дорогой.

Она не стала переспрашивать, отвернулась к окну. Машина плавно тронулась по дорожке, гравий захрустел под шинами, и я поймал в зеркале заднего вида уходящий назад фасад дома, колонны, газон, а потом — на втором этаже, крайнее окно слева, спальню. Я притормозил. Штора там была задёрнута не до конца, и в узкой щели темнело стекло, то самое, по которому пару дней назад, как сказала Кристина, кто-то стучал снаружи ночью, ровно, три раза, пока она не включила свет. Сейчас окно было просто тёмным прямоугольником среди светлого утра, ничего особенного, обычное отражение облаков, но я почему-то не мог отвести взгляд от него.

— Мы точно всё взяли? — спросил я вслух, скорее, чтобы заговорить самого себя, чем узнать ответ.

— Всё, — сказала Кристина. — поехали уже, хватит тянуть!

Я надавил на газ чуть сильнее, чем собирался, и дом в зеркале стал быстро уменьшаться, пока не скрылся за поворотом, оставив после себя только пыль над дорогой, медленно оседающую в неподвижном утреннем воздухе.

Трасса выровнялась, и асфальт пошёл такой гладкий, что шины почти не слышались — только лёгкое шуршание, монотонное, как фоновая дорожка под закадровый текст. Радио поймало какую-то станцию из областного центра, ди-джей бодро объявлял распродажу шин, и я прибавил громкость ровно настолько, чтобы заполнить паузу в салоне, не доводя до разговора.

— Представляешь, какой материал, — я повернул телефон на держателе так, чтобы объектив захватил и моё лицо, и часть дороги за стеклом, и заговорил тем голосом, которым обычно открывал выпуски, слегка растягивая гласные. — вот она, подмосковная лепота переходит в вологодскую глушь! Для горожан, которым надоели Бали, — пожалуйста, отдых для нервов за счёт редакции! Свежий воздух, тишина, лес. Что ещё нужно?

Кристина не отвернулась от окна, но я почувствовал, как

у неё дёрнулось плечо, короткое, злое движение, будто она хотела что-то смахнуть с рукава.

— Что ещё нужно? — повторила она без улыбки. — для тебя, может, и ничего! Для меня — ты обещал довести это дело до конца. Не до первой красивой картинки и домой, а до конца!

— Я и доведу, — сказал я, не убирая телефон, хотя рука на секунду стала тяжелее обычного. — куда я денусь?

— Вот именно это меня и интересует. Куда ты денешься! Куда угодно! Я слишком хорошо знаю тебя и цену твоим словам!

Я убрал камеру, положил телефон на панель экраном вниз, будто так разговор сам собой перестанет быть неприятным, и подался вперёд, поправляя зеркало, хотя оно и так стояло правильно.

— Слушай, давай не сейчас, — сказал я легче, чем получалось. — дорога длинная, голову сломаем на этих ухабах ещё до того, как доедем до сути.

— До какой сути, Андрей? — Кристина всё-таки повернулась, и в её голосе проступила та интонация, которую я слышал последние недели всё чаще, ровная, почти деловая, как у человека, зачитывающего условия договора. — Ты так и не сказал, куда именно мы едем! Деревня эта на карте есть вообще?

— Есть! — я кивнул на навигатор, будто это что-то доказывало. — Приедем, увидишь. Хуже, чем на словах, точно

не будет.

— Откуда ты знаешь, что она есть? Ты даже названия её не знаешь!

— Старик сказал, что дорога сама нас приведёт куда нужно! Вот и будем полагаться на его слова!

Она не стала спорить дальше, отвернулась обратно к окну, и я мысленно выдохнул, хотя плечи у Кристины так и остались поднятыми к ушам.

За стеклом потянулись сёла, сначала частые, с магазинчиками у дороги и выцветшими рекламными щитами, потом реже, с покосившимися заборами и огородами, заросшими по колено.

Я успевал комментировать их вслух, почти по привычке — «вот деревенская идиллия, граждане, домик с петухом на коньке крыши, абсолютно бесплатный антистресс» — но с каждым разом фраза получалась чуть тише, чуть короче, будто сама дорога отнимала у неё воздух.

Домики стали попадаться реже, потом совсем исчезли, остались только поля, выжженные солнцем до соломенного цвета, и лес по обе стороны, сначала редкий, светлый, березовый, а потом всё гуще, темнее, с ельником вперемешку. Радио начало хрипеть, станция сбивалась, и я выключил его совсем, не дожидаясь, пока хрип перейдёт в сплошной шум. Разговор угас сам, без усилий с моей стороны.

Кристина молчала, глядя в окно, и я молчал тоже, следя за дорогой и краем глаза — за навигатором, за синей лини-

ей маршрута, тянущейся вперёд ровной полосой через зелёное пятно леса. Полоса эта на секунду дёрнулась в сторону, свернула, будто экран перестроил маршрут через соседнюю дорогу, которой я на карте только что не видел, а потом вернулась обратно, как ни в чём не бывало.

Я моргнул, подумал, что показалось, но присмотрелся внимательнее: расстояние до точки прибытия, минуту назад показывавшее двести с лишним километров, теперь показывало на пять больше, хотя мы явно проехали за эту минуту не меньше километра.

— Что там? — спросила Кристина, заметив, что я смотрю на экран дольше обычного.

— Телефон тупит, — сказал я и, не дожидаясь второго вопроса, взял его одной рукой, зажал кнопку, подержал пару секунд, глядя больше на дорогу, чем на экран, потом отпустил. Телефон мигнул, потух, снова засветился логотипом, и я выдохнул с преувеличенным облегчением, которое сам же себе не поверил.

— Вот, порядок.

Карта загрузилась снова, маршрут выровнялся в прямую линию, и цифры расстояния вернулись к прежним, логичным. Я положил телефон обратно на панель, рядом с диктофоном, стараясь не смотреть ни на тот, ни на другой, дольше секунды.

— Город связь сюда докачивает через спутник, что ли, — предположил я вслух, как бы для себя, хотя на самом деле

для Кристины, чтобы она услышала разумное объяснение и перестала коситься в мою сторону с этим своим прищуром. — глушь же!

Она не ответила. За окном лес стоял стеной, густой, почти без просветов, и сквозь приоткрытое окно в салон тянулся запах, которого я не ждал от середины лета, запах сырой земли и чего-то похожего на увядшую листву, хотя листва на деревьях вдоль обочины была ещё зелёной, разве что кое-где по краям уже свернулась, пожухла, будто её тронул не по сезону ранний заморозок.

Я прибавил скорость, сам не замечая зачем, и дорога впереди пошла мягким долгим поворотом, за которым, судя по карте, должен был начаться последний участок асфальта перед грунтовой.

Асфальт кончился без предупреждения — ни знака, ни хотя бы ямы на подступах, просто чёрная полоса вдруг стала рыжей, и колёса ударили по грунту так, что телефон подскочил на панели и чуть не слетел в щель между сиденьями. Пыль поднялась столбом за машиной, густая, рыжая, видная в зеркале заднего вида минуту спустя, хотя мы давно проехали то место.

— О, вот оно, — сказал я и потянулся за телефоном, держа руль одной рукой, развернул камеру на лобовое стекло, на дорогу, на лес по сторонам. — смотрите, что начинается!

Асфальт — это для слабаков, настоящий саспенс начинается там, где кончается разметка.

Голос у меня получился ровный, с той самой интонацией, которую я отработывал три сезона подряд, когда вёл зрителя за собой в заброшенный барак или на старое кладбище: чуть ниже обычного, с растяжкой на словах, будто я сам немного боюсь, но вида не подаю. Отснятое пригодится, думаю я, монтажёр вырежет пыль, вставит музыку, и получится красиво — дорога в никуда, последний рубеж цивилизации, прощай асфальт, здравствуй настоящая Россия.

— Можешь потише ехать? — сказала Кристина, вцепившись в ручку над дверью. — Трясёт!

— Это атмосфера! — сказал я, не убирая телефон. — Атмосферу путешествия должно трясти!

Она не ответила, отвернувшись к окну, и я снова почувствовал этот холодок между нами, не физический, а какой-то бытовой, мелкий, как заноза: она сидела прямо, напряжённо, будто ждала, что я вот-вот сделаю что-то не то, а я вёл машину и снимал одновременно, и мне казалось, что именно это она мне и не прощает, хотя вслух не скажет.

— Смотри, — сказала она вдруг, и голос у неё изменился, стал тише, без раздражения. — листья!!

Я скосил глаза на обочину, не отрывая руки от руля. Кусты вдоль дороги стояли зелёные, да, но у самой земли, в траве, виднелись пятна бурого, свёрнутого в трубочку, как будто кто-то прошёлся огнём или кипятком по нижним веткам, не

тронув верхние.

— Июль на дворе, — сказала Кристина. — откуда это?

— Засуха! — сказал я, не задумываясь, потому что ответ выскочил сам, готовый, удобный. — Низина, наверное, грунтовые воды ушли, вот и сохнет снизу. Или болезнь какая, грибок. С деревьями это бывает.

Она промолчала, но я видел краем глаза, что она подалась чуть вперёд, разглядывая обочину внимательнее, чем нужно для простого любопытства, и это молчание раздражало меня больше, чем любой вопрос. Будто она ждала, что я скажу что-то другое, признаю что-то, чего я признавать не собирался, потому что признавать было нечего — ну сухие листья, ну подумаешь!

Я опустил стекло на пару сантиметров, чтобы проветрить салон от пыли, и сразу понял, что сделал глупость: воздух снаружи был тёплый, густой, пах землёй и чем-то вроде прелой травы, хотя травы прелой здесь взяться было неоткуда, и в этом воздухе не было ни звука. Я прислушался, сам себе не веря, что прислушиваюсь. Ни шелеста в кронах, ни скрипа веток, ни единой птицы — а их не было слышно ещё с той развилки, где асфальт начал забираться влево, и я тогда не придал этому значения, списал на радио в ушах. Теперь радио молчало, выключенное мной же, и тишина стала полной, ощутимой, будто кто-то выключил звук в кинозале, оставив картинку. Двигатель гудел ровно, монотонно, и этот звук казался единственным живым в этом лесу, единственным, что

имело право здесь находиться.

— Закрой окно, — сказала Кристина. — дует.

Я закрыл стекло, хотя дуть там было нечему, разве что горячим воздухом снаружи, и снова поднял телефон, решив, что надо переснять «интро» — то, что я наговорил минуту назад про саспенс и разметку, звучало на пробной прослушке как-то не так.

Я включил запись заново, прочистил горло, придал лицу выражение заинтересованной уверенности, которое отработал перед сотней камер.

— Итак, друзья, — начал я, глядя прямо в объектив, держа руль коленом на долю секунды, — асфальт закончился, и вместе с ним закончилась уверенность в том, что мы вообще едем туда, куда...

Я остановился сам, послушал обратно короткий кусок записи — и голос на записи был моим, узнаваемым по тембру, но каким-то плоским, будто звучал не из динамика телефона, а издалека, из соседней комнаты, приглушённым, словно я говорил сквозь подушку. Я поморщился, подумал, что дело в микрофоне, в тряске машины, в чём угодно, и переснял ещё раз, старательнее, громче.

— Итак, друзья, асфальт закончился...

Снова прослушал — и снова та же глухота, та же чужая интонация в собственном голосе, будто слова произносил кто-то, кто пытался меня скопировать, но не совсем попал в тон.

— Что не так? — спросила Кристина, заметив, что я кручу запись туда-сюда уже третий раз.

— Звук какой-то странный, — сказал я, стараясь, чтобы это прозвучало как техническая придирка, а не как-то, чем это было на самом деле. — микрофон барахлит. Пыль, наверное, набилась.

Она посмотрела на меня внимательно, и снова отвернулась к окну, и я почувствовал, что вопрос она задала не из любопытства, а потому что сама что-то услышала или почувствовала, только не сказала, что именно.

Я положил телефон на панель экраном вниз, чтобы не видеть дорожку записи, и сосредоточился на руле, на дороге, впереди которой пыль уже не оседала, а висела в воздухе неподвижным рыжим облаком, будто ветра здесь не существовало вовсе — ни снаружи, ни внутри этого леса, который молчал так старательно, что я начал слышать собственное дыхание.

Колея углубилась настолько, что машину начало швырять из стороны в сторону, подвеска работала с тяжёлым, надсадным стоном, и я вцепился в руль обеими руками, чувствуя каждую кочку спиной, будто дорога нарочно выбирала самые неровные места.

— Ещё раз прошу, можно ехать помедленнее? — сказала Кристина, держась за ручку над дверью.

— Я и так еду на второй передаче.

— Зачем мы вообще поехали в это время? Я же говорила

— надо было выезжать рано утром.

— Ты полтора часа собирала чемодан, — сказал я, не поворачивая головы, потому что дорога требовала всего внимания, и ещё потому, что поворачивать голову сейчас совершенно не хотелось. — Я, по-твоему, должен был тебя торопить? Или начинать собираться ночью?

— Ты мог бы собраться сам, а не снимать интро для своего дурацкого шоу на крыльце.

— Это не дурацкое шоу, это работа, которая, если ты помнишь, оплачивает твою безбедную жизнь и «косметичку» величиной с чемодан, на заднем сиденье.

Она фыркнула и отвернулась к окну, и я пожалел о последней фразе сразу, как она вылетела, но признавать это вслух не стал, просто сильнее сжал руль, глядя на колею впереди, которая уходила в сумрак между соснами без всякого намёка на то, что когда-то здесь ездили машины чаще раза в год.

Минуту мы молчали, слушая скрип рессор и редкие удары веток по крыше, а потом Кристина вдруг выпрямилась на сиденье, так резко, что ремень безопасности щёлкнул о пряжку.

— Тут птиц нет! — сказала она. — Вообще. Ты слышишь это?

Я не ответил сразу, потому что первая мысль была раздра-

жённая, привычная: вот, снова начинается, снова она что-то себе придумывает, как с тем звонком старика к нам домой, с тем голосом по телевизору, — но вторая мысль, которая пришла на полсекунды позже, была холоднее и честнее, и она сказала, что Кристина права.

Я опустил стекло на пару сантиметров и прислушался. Двигатель гудел, ветки скрипели под колёсами, но под этим не было ничего — ни одного щебета, ни стука дятла, ни шороха крыльев в кронах, которые тянулись над дорогой плотным зелёным сводом. В городе я никогда не замечал птичий гомон, он был фоном, как шум вентиляции, но здесь, в лесу, его полное отсутствие ощущалось так, будто из комнаты вынесли мебель и остались голые стены.

— Может, время года такое? — сказал я, закрывая стекло.
— Или жара их куда-то разогнала?

— Жара их не разгоняет, Андрей. Они птицы, а не туристы.

Голос у неё сорвался на последнем слове, и я впервые за всю поездку услышал в нём не привычное раздражение, не ту интонацию, которой она требовала у меня денег или времени, а что-то другое, что-то похожее на дрожь под коркой льда, и это испугало меня больше, чем сама тишина за окном.

— Может, ещё, эффект леса! — сказал я, стараясь, чтобы голос прозвучал ровно и авторитетно, как в подводке к сюжету. — Густая хвойная зона, звук глушится кронами, пти-

цы держатся по краям, у воды. Это нормально.

Я и сам не знал, откуда взял эти слова, выдумал их на ходу, но произнёс так уверенно, что на секунду почти сам поверил, а это, собственно, и было моей главной профессиональной способностью — верить в выдумку ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы в неё поверил кто-то ещё.

Кристина ничего не сказала. Она смотрела в окно на стволы сосен, стоящие так плотно, что между ними не было видно ничего, кроме темноты, и листья на нижних ветках, пожелтевшие и скрученные, будто их тронул не июль, а конец октября.

Я потянулся к навигатору, закреплённому на панели, желая отвлечься от этой темноты за окном чем-то привычным, цифровым, объяснимым. Синяя линия маршрута шла по экрану ровно, аккуратной полосой через зелёный массив, подписанный просто «лес», без названий урочищ и просек, и я прибавил масштаб, чтобы увидеть ближайший ориентир. Линия дрогнула. Я подумал, что показалось, но маршрут на экране действительно исчез, растворился полностью, оставив только точку нашего местоположения, висящую посреди сплошной зелёной заливки без единой дороги рядом, без тропинки, без пунктира лесной просеки — ничего, будто навигатор вдруг забыл всё, что знал об этой территории, и честно признался в этом белым полем вместо карты.

— Что там опять случилось? — спросила Кристина, заметив, что я смотрю на экран с некоторым недоумением.

— Сейчас.

Я тряхнул телефон, перезагрузил приложение, и через пару секунд маршрут появился снова, но уже другой — линия шла не той же дорогой, что мы ехали, а немного севернее, срезая через участок, на котором, судя по спутниковому снимку, не было вообще ничего, кроме сплошного лесного массива без единого просвета.

— Странно, — сказал я вслух, уже не пытаясь это объяснить ни себе, ни ей.

Я посмотрел на правый верхний угол экрана, туда, где должен был стоять значок сигнала, и увидел, что полосы исчезают одна за другой, медленно, как будто кто-то методично гасил их по очереди, пока не осталась одна пустая иконка перечёркнутой антенны.

— У тебя тоже? — спросил я, хотя знал ответ заранее.

Кристина достала телефон из кармана куртки, нажала кнопку, посмотрела на экран несколько секунд.

— Тоже, — сказала она тихо.

Мы оба замолчали, и в этой паузе не было ничего, кроме гула двигателя и скрипа подвески, никто не произнёс того единственного слова, которое могло бы объяснить всё и ничего одновременно, и я почувствовал, что это молчание тяжелее любого спора, который у нас случался за все годы брака.

Переднее колесо ушло в колею по самую ступицу, и я почувствовал, как машина мягко качнулась, оседая на бок, буд-

то выдохнула и решила больше никуда не ехать. Я выжал газ, почти не думая, по привычке, и земля под колесом захлюпала, расплзаясь, а разные стороны.

— Застряли, — сказал я, с досадой и какой-то неизбежностью судьбы, которую я ждал, но не знал в какой именно момент она случится.

— Что теперь? — спросила Кристина.

— Посмотрю. Сиди в машине!

Я заглушил двигатель и открыл дверь. Кристина не пошевелилась, только защёлкнула замок со своей стороны на двери, хотя я её об этом не просил. Раньше она делала так в городе, на парковках у торговых центров, когда мимо проходили подозрительные компании подростков или кавказцев. Здесь подростков не было. Да и кавказцев тоже. Здесь вообще никого не было на тридцать километров в любую сторону, насколько я мог судить по карте, которая всё равно перестала работать.

Снаружи воздух оказался спёртым, тяжёлым, как будто кто-то забыл проветрить помещение размером с лес. Я сделал несколько шагов к колесу и услышал только собственные ботинки, чавкающие по грязи, больше ничего. Ни комара возле уха, ни мухи, ни того фонового стрекота, который сопровождает любой подмосковный выезд на шашлыки, когда сидишь и отмахиваешься весь вечер.

Я остановился на секунду, прислушался специально, напрягая слух так, что зазвенело где-то в затылке, и не поймал

ровным счётом ничего, кроме скрипа собственной куртки. Колесо застряло основательно, глубоко, наполовину скрывшись в коричневой жиже, и я присел на корточки, разглядывая, насколько плохи дела, думая уже о лопате в багажнике и о том, что лопата едва ли поможет в данном случае. Камера висела у меня на шее, и я поднял её скорее машинально, чем осознанно, потому что рука уже знала этот жест лучше головы.

Я развернул объектив в сторону леса, туда, откуда тянулась колея, и посмотрел в видоискатель. В кадре не было ничего, что можно было бы продать зрителям. Ни единого просвета между стволами, ни лучика, пробивающегося сквозь деревья, ни той сквозной глубины, которую операторы обычно ищут специально, чтобы зритель почувствовал объём, живое дыхание пространства. Здесь деревья стояли настолько плотно, что казались одной сплошной стеной, крашеной в грязно-зелёный и бурый, без просвета, без дороги вглубь, без единой тропинки, которую можно было бы выдать хотя бы за звериную. Листья на нижних ветках были такими же, как и те, что были несколько сот метров назад - свисали скрученными трубочками, бурыми по краям, будто их подпалило изнутри, хотя была середина лета и в поместье нашем зелень, ещё густая, ещё живая. Я нажал запись.

— Так, — начал я, стараясь, чтобы голос звучал так же, как звучал последние несколько лет в каждом втором ролике, — вот он, легендарный лес, который должен нас не вы-

пустить, если верить старику! Пока, как видите, выпускает прекрасно, просто немного...

Я замолчал, подбирая слово, и в этой паузе услышал собственное дыхание слишком отчётливо, слишком близко к микрофону.

— ...немного подзастряли! — закончил я, и голос на последнем слове дрогнул, сорвался куда-то вбок, как случается у подростков в период ломки, хотя мне было тридцать семь и ломаться было давно нечему.

Я опустил камеру, не выключив запись, потому что рука забыла об этом движении, и просто постоял так несколько секунд, глядя в сторону деревьев, которые не шевелились, хотя ветер, судя по верхушкам где-то далеко над кронами, вроде бы дул. Внизу, у земли, воздух стоял мёртво, ни одна ветка не колыхалась, ни один лист не падал, только тишина, густая, как кисель, в которой тонул каждый мой шаг.

Я снова поднёс камеру к глазу, хотел ещё раз, уже спокойнее, начать комментарий заново, и в этот момент заметил между стволами, далеко, метрах в семидесяти, может, в ста, что-то тёмное и неподвижное. Не ствол, потому что стволы вокруг были тоньше и светлее, с проседью бересты и рыжей сосновой коры. Это было выше и уже, стояло ровно, как стоит человек, когда специально замирает, чтобы его не заметили, и я вгляделся, вжимая глаз в видоискатель, но расстояние и сумрак под кронами съедали детали, оставляя только форму, тёмный силуэт между двумя соснами, который не

двигался ни на сантиметр, пока я смотрел.

Я ждал, не опуская камеру, досчитал про себя до пяти, потом до десяти, но силуэт так и не пошевелился, и я не мог с уверенностью сказать, стоит там кто-то или это игра света, тень от ветки, обломанный ствол на той высоте, которая обманывает глаз.

Я нажал зум, насколько позволяла оптика, картинка расплылась в зерно, и фигура осталась такой же неопределённой, как и минуту назад, то ли человек, то ли пень, то ли вообще ничего. Я опустил камеру и больше не стал смотреть туда напрямую.

— Нужна лопата! — сказал я вслух, самому себе, и голос прозвучал, как-то, неуместно, словно я чихнул в церкви.

Развернувшись, я пошёл к машине, стараясь не торопиться, хотя шаг сам собой удлинялся с каждым метром, и грязь чавкала под ногами настойчивее, будто подгоняла меня к водительской двери. Кристина опустила стекло на пару сантиметров, когда я подошёл.

— Ну что там? — спросила она.

— Засели капитально. Сейчас попытаюсь откопать.

— Долго?

— Не знаю. Минут двадцать, наверно.

Она кивнула и подняла стекло обратно, не дожидаясь, пока я договорю, и щёлкнул замок, хотя я уже стоял снаружи, у самой двери. Я толкнул дверь со своей стороны, она открылась без проблем, Кристина забыла или не подумала о води-

тельской стороне, и я сел, вытащив из-под сиденья тряпку, чтобы не испачкать обивку.

— Там что-то было? — спросила она, глядя не на меня, а на лес через лобовое стекло и кивнула в сторону того силуэта, на который я смотрел минуту назад, в глубине леса.

— Где?

— Ты долго стоял с камерой. Смотрел куда-то. Ты что-то видел?

— Свет снимал! — сказал я. — Красиво ложится между стволами.

Она посмотрела на меня, но ничего не сказала, отвернулась обратно к окну, и я полез в багажник за лопатой, чувствуя, как между лопаток собирается холодный пот, будто я только что соврал в прямом эфире перед десятью миллионами зрителей, а не перед собственной женой в машине, застрывшей посреди леса, где не было ни единой птицы.

Лопата справилась быстрее, чем я ожидал, и это было единственное, что в тот вечер пошло по плану. Колесо откопал, подложил ветки, машина дёрнулась из колеи с третьей попытки, и я успел подумать, что теперь-то мы наверстаем, доедем до какого-нибудь ориентира засветло.

Но солнце садилось не так, как должно было в июле, не медленно, с долгим тёплым прощанием, а быстро, рывками, будто кто-то торопливо задёргивал занавеску. Я посмотрел

на часы на приборной панели, потом на небо — разница не билась, время говорило одно, свет другое. Небо над кронами наливалось густым, почти мясным багрянцем, слишком плотным для обычного заката, без золотой каймы по краям облаков, без переходов, просто тяжёлая кровавая полоса, прижатая к верхушкам сосен.

— Темнеет рано, — сказала Кристина, глядя в боковое окно.

— Лес густой. Солнце садится за деревья раньше, чем за горизонт! — сказал я и сам услышал, как неубедительно это прозвучало, как будто я объяснял зрителю реквизит после того, как тот уже увидел верёвку, на которой висит декорация.

Дорога впереди уходила в черноту между стволами, и соваться туда на ночь глядя значило либо снова застрять, на этот раз окончательно, либо, того хуже, разбить подвеску о корень, который не разглядишь в свете фар.

— Предлагаю остановиться здесь! — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал по-деловому, как будто речь шла о банальной логистике. — Подвеску убьём, если в темноте полезем дальше. Отъедем немного в сторону и заночуем в машине, с утра на свежую голову двинемся дальше.

Кристина молчала. Она смотрела не на меня, а куда-то в лес за моим плечом, и я не обернулся, потому что не хотел знать, на что именно она смотрит.

— Хорошо, — сказала она наконец.

Я съехал с дороги, заглушил двигатель, и тишина, которая обрушилась в салон, была гуще той, что стояла снаружи минуту назад.

Кристина потянулась к своей двери и несколько раз подёргала ручку, проверяя, защёлкнулся ли замок, хотя щелчок центрального замка мы оба слышали ещё, когда я садился. Потом перегнулась назад, нажала ручку на задней двери со своей стороны, хотя и та была заперта автоматически вместе со всеми.

Я наблюдал за этим и ничего не сказал. В другой день я бы, наверное, спросил, от кого она тут запирается, оленей бояться или грибников, и получил бы в ответ раздражённое молчание или короткое «отстань». Сейчас я промолчал, потому что сам не мог вспомнить, когда в последний раз проверял свою дверь дважды.

— Там же пусто! — сказал я всё-таки, не выдержав, но голос вышел тише, чем я рассчитывал, без привычной насмешки. — Вокруг никого.

— Я знаю! — ответила Кристина, не отрываясь от зеркала заднего вида, в котором уже ничего не было видно, кроме черноты.

Я взял камеру с панели, повернул её объективом на себя, собираясь наговорить что-нибудь для нового ведущего, пару фраз с иронией про героическое преодоление бездорожья, про то, как городские неженки ночуют в лесу, как в каком-нибудь реалити про выживание, вот только без съёмоч-

ной группы в соседнем трейлере с горячим кофе. Я включил запись, поймал красный огонёк в видеоискателе, открыл рот.

— Итак, друзья, мы приняли волевое решение...

Я замолчал и опустил стекло на сантиметр. Мне хотелось уловить хоть какой-то звук, кузнечика, комара, писк какой-нибудь птицы, устраивающейся на ночь, но в салон не вошло ничего, кроме сырого, тяжёлого воздуха без единого шороха. За весь день мы не слышали ни одного звука, кроме двигателя и наших голосов. Я это уже отмечал про себя раньше, но тогда списал на жару, на пожухшие не по сезону листья, на какую-нибудь местную особенность, которую можно объяснить словом «экология» и забыть. Сейчас, в наступающей темноте, отсутствие звука ощущалось не как пустота, а как будто кто-то выключил фонограмму в кинотеатре на самом страшном месте, и зал продолжает сидеть и смотреть немое изображение, не понимая, что происходит с динамиками.

— Закрой окно, — сказала Кристина.

Я закрыл. Тишина внутри машины стала гробовой, она давила на уши сильнее, чем любой гул двигателя, и я поймал себя на мысли, что дышу через раз, стараясь не шуметь, хотя шуметь было нечем и незачем, рядом сидела только жена, а снаружи — пустой лес, который не издавал ни звука.

Я посмотрел на экран камеры. Красный кружок записи всё ещё горел, индикатор отсчитывал секунды, а я так и не договорил фразу про волевое решение, про героев бездорожья,

про зрителей, которые должны были это увидеть с улыбкой. Рука сама потянулась к кнопке, и я выключил запись, не закончив мысль, оставив комментарий новому ведущему оборванным на полуслове, как будто сам не хотел, чтобы кто-то слышал, с каким звуком я замолчал.

Салон погрузился в темноту вместе с погасшим экраном, и снаружи, за стеклом, уже нельзя было различить ни стволов, ни дороги, ни опушки, только плотную черноту, в которой, казалось, стояло что-то живое, не издающее ни звука специально, чтобы его не услышали. Я не хотел выходить проверить ещё раз, что с дорогой, не хотел открывать дверь даже на секунду, вдохнуть вечерний воздух, размяться после долгой тряски. Я сидел неподвижно и ловил себя на мысли, что впервые за весь день не хочу оказаться снаружи машины ни на миг дольше, чем необходимо.

Глава 5

Андрей заглушил двигатель, и машина вздрогнула последний раз всем кузовом, будто живое существо, которое наконец позволили себе выдохнуть после долгого бега. Фары погасли вместе с мотором, и свет, которым держался мир последние полчаса, исчез сразу весь, без постепенного угасания.

— Предлагаю остановиться здесь! — сказал он таким тоном, каким объявляют решения, принятые заранее, но про-

изнесённые будто бы сейчас. — Подвеску убьём, если в темноте полезем дальше. Отъедем немного в сторону и заночуем в машине, с утра на свежую голову двинемся дальше.

Я не стала спорить и согласилась. Спорить было не с чем, да и не зачем. В этом бездорожье Андрей, хотя бы, был прав. Я достала из сумки плед, тот самый, клетчатый, который брали ещё на дачу к родителям, перелезла назад и расстелила его на заднем сиденье, разгладила ладонью складки, будто от этого зависело, как я усну. Потом вытащила пачку влажных салфеток, протёрла руки, протёрла подлокотник, к которому успела прилипнуть пыль и смола с какой-то ветки, зацепившей стекло ещё днём.

Мелкие движения успокаивали, хотелось навести хоть какой-то порядок в этом тесном пространстве, раз уж весь остальной мир за окном порядку не поддавался.

— Может, хватит убираться? — сказал Андрей с переднего кресла, не оборачиваясь. — Мы не в отеле. Что ты тут дезинфицируешь?

— Было бы неплохо, если бы мы были в отеле! — ответила я и сама удивилась, как спокойно это прозвучало, хотя внутри всё давно не было спокойным.

Я дотянулась и проверила замок на своей, передней двери, потянула ручку вверх, услышала щелчок. Потом проверила переднюю дверь со стороны Андрея, хотя он сидел там же, за рулём, и дверь, явно, была заперта. Потом обе задние и уже чувствуя себя глупо, снова свою переднюю дверь.

— Кристина, какого хрена ты делаешь? — Андрей наконец повернулся, в полумраке я видела только блеск его глаз, — От медведя эта дверь не спасёт. Он её лапой откроет, как консервную банку, если захочет!

— Тогда зачем ты мне это говоришь? — спросила я с раздражением и злостью в голосе. — Чтобы я спала крепче?

Он хмыкнул, но больше ничего не ответил, снова отвернулся к рулю, будто там, в черноте лобового стекла, было на что смотреть.

Я продолжила проверять замки. Не потому что верила в медведей, не потому что верила, вообще, во что-то конкретное, просто руки делали то, что умели делать в любой непонятной ситуации, с тех пор как я себя помнила: проверить, закрыть, убедиться, снова перепроверить. Отец всегда говорил, что в жизни нужно полагаться только на то, что можешь проверить сам, остальное — суеверия и сказки на ночь. Сейчас, в этом лесу, слова отца звучали особенно нелепо, потому что проверить здесь было решительно нечего, кроме четырёх дверных ручек внедорожника, который стоял посреди непролазных, лесных дебрей.

Я выглянула в окно. За те полчаса, что мы ехали в вечерних сумерках, темнота успела стать настоящей, густой, не городской, не той, что разбавлена фонарями и светящимися окнами соседних домов. Здесь не было ни одного огонька. Ни далёкого зарева города, ни мигающей вышки сотовой связи, ни даже звезды, потому что небо затянуло непрогляд-

ной пеленой облаков, которая не пропускала ни лунного света, ни отблесков чего бы то ни было.

Я столько раз представляла себе темноту в деревне у бабушки в детстве, думала, что знаю, что это такое, деревенская ночь. Но там всегда был свет или, просто, свечи, керосиновые лампы в окнах соседей, лай собак, стрекотание сверчков, далёкий гул трассы, звук турбин пролетающих, где-то высоко, самолётов.

Здесь не было ничего. Чернота за стеклом казалась не отсутствием света, а присутствием чего-то вязкого и тягучего как чёрный кисель, который заполнил собой весь лес до последнего сантиметра, и от этой мысли мне стало холодно до мелкой дрожи.

— Андрей, — позвала я, — а если дорогу завтра опять не найдём?

— Найдём! — сказал он без паузы, слишком быстро для человека, который действительно в это верил. — Навигатор просто сбоит, завтра утром возьмём пеленг по солнцу, выйдем на трассу, максимум, за пару часов.

Я хотела спросить, с каких пор он умеет брать пеленг по солнцу, но промолчала. Не было сил на ещё один разговор, в котором он бы красиво выкрутился, а я бы снова почувствовала себя душой за то, что вообще задала вопрос.

— Я так понимаю, ты решил возвращаться назад? В очередной раз убеждаюсь, что врать людям тебе не привыкать!

— Я ещё ничего не решил. Нам нужно найти дорогу для

начала.

Андрей завозился на переднем сиденье, откинул спинку, укутался в куртку вместо одеяла. Прошло не больше пяти минут, и его дыхание выровнялось, стало глубоким, ровным, тем самым дыханием человека, который умеет засыпать в любых обстоятельствах, лишь бы не думать. Я всегда завидовала этой его способности, особенно в первые годы брака, когда сама могла по три часа ворочаться, прокручивая в голове дурацкую фразу, сказанную на работе, а он отключался за секунду, стоило голове коснуться подушки. Сейчас эта его способность вызывала не зависть, а что-то похожее на обиду. Как будто он сбежал первым, бросив меня одну разбираться с этой чернотой за окном.

Я легла на бок на заднем сиденье, подтянула плед к подбородку, хотя было не холодно, скорее душно и влажно, как перед грозой, которая так и не собралась разразиться за весь день. Глаза привыкли к темноте настолько, насколько вообще можно привыкнуть к полному отсутствию света, и я различала только смутный контур спинки переднего кресла и едва заметное пятно более светлого, тёмного там, где должно было быть небо.

Снаружи не раздавалось ни звука. Я вслушивалась изо всех сил, пыталась уловить хоть что-то знакомое, обыденное, привычное для леса, треск ветки под лапой зверя, шуршание в траве, писк какого-то ночного насекомого или грызуна. Но стояла та же плотная тишина, что давила на уши ещё днём,

когда мы остановились у опушки. Тишина, в которой почему-то было труднее заснуть, чем в любом городском шуме.

Я начала считать вдохи. Раз, два, три. Пыталась представить себе цифры, как советовала какая-то статья про бессонницу, читала её ещё до свадьбы, когда переживала из-за экзаменов. Четыре, пять. На счёте шесть я поймала себя на мысли, что вместо цифр в голове крутится совсем другой вопрос, который не хотел покидать голову: почему за целый день пути мы не встретили ни одной птицы, ни одной машины, ни одного человека, который мог бы объяснить, куда ехать дальше? Я снова начала считать вдохи.

Андрей дышал ровно и тяжело. Я лежала с открытыми глазами, считая, боясь, что стоит мне замолчать внутри себя хотя бы на секунду, тишина снаружи ворвётся в салон и займёт собой всё оставшееся пространство, которое пока ещё принадлежало мне.

Сон приходил рваными кусками, то накрывая, и я проваливалась в забытие, то снова отпускал, и я вздрагивая, просыпалась. В одном из таких «провалов», где-то между счётом «двенадцать» и «тринадцать», я «вынырнула» на звук. Вой. Сначала он показался мне продолжением сна, чем-то, что я сама себе придумала, досочинила из тишины, которая давила весь вечер. Но он не прекращался, тянулся длинной нотой, то поднимаясь, то чуть оседая, и в этом подъёме и оседании было слишком много живого, чтобы принять его

за часть сна.

Я лежала неподвижно, и первые секунды пыталась определить хотя бы направление. Не получалось. Звук шел спереди, оттуда, где за лобовым стеклом едва угадывались темные кроны деревьев. И одновременно он же доносился сзади, из глубины леса за задним стеклом, куда я старалась не смотреть еще с заката. А через мгновение мне почудилось, что вой падает сверху, будто что-то воет прямо над крышей машины, нависая над нами, и этого быть не могло, потому что над крышей не было ничего, кроме веток и неба, но ощущение было именно такое, давящее, будто звук обтекал машину со всех сторон разом, не оставляя ни одной глухой стены.

Я приподнялась на локте, стараясь не шуметь пледом, скосила глаза на переднее сиденье. Андрей спал, его дыхание было все таким же ровным, спокойным, и меня «царапнула» мысль, почти обида: как можно спать под такой звук? Потом я одернула себя. Если он спит, значит, звук негромкий, не такой уж страшный, какой слышался мне, с нервами, натянутыми за день пустой дороги, до звона.

«Волк», подумала я. Конечно волк. Или собака одичавшая, их полно в таких местах, брошенные хозяевами, прибившиеся к какой-нибудь стае. Воют же волки на луну, это не выдумка, это из любого документального фильма известно, из тех самых, за которые Андрей получал деньги, пусть даже там все было срежиссировано, а тут, может, наконец, настоящее.

Я, почти, улыбнулась этой мысли, хотя улыбка вышла кривой, одними губами. А может, это овраг, решила я следом, прислушиваясь к звуку заново. Где-то рядом должен быть овраг или распадок, воздух гуляет в таких местах странно, гудит, отражается, усиливается, будто в трубе, и человеческое ухо не может разобрать, откуда на самом деле идет звук, потому что звук приходит отовсюду через эхо, через складки рельефа. Я читала что-то такое, кажется, в одной из передач, которые Андрей монтировал в самом начале, когда еще сам верил в то, что показывает.

«Или ветер», сказала я себе уже тверже, цепляясь за это слово, как за перила. Ветер в кронах, высоко, там, где верхушки сосен трутся друг о друга под порывом, которого внизу совсем не чувствуется. Такой звук бывает похож на вой, особенно ночью, особенно если не спать и вслушиваться изо всех сил в то, что днем, просто, пропустил бы мимо ушей.

Я проговаривала эти объяснения одно за другим, перебирала их как четки, и с каждым новым звук как будто становился немного тише, податливее, укладывался в рамку, которую я для него строила. Волк. Овраг. Ветер. Что-то из этого наверняка было правдой, а может, и все сразу, лес ведь полон звуков, которые городской человек научился слышать и узнавать.

Вой оборвался. Оборвался не так, как обрывается настоящий звук в природе, не угасая постепенно, не затихая вдаль, будто зверь отвернул морду или отбежал дальше. Он кончил-

ся резко, ровно посередине ноты, будто кто-то щелкнул тумблером или вырубил звук на пульте. Эта резкость звучала более неправильно, чем сам вой, и я почувствовала, как по спине, вдоль позвоночника, снизу-вверх, прошел холодок, хотя в машине было по-прежнему душно.

Несколько секунд я лежала, боясь шевельнуться, вслушиваясь в тишину, которая вернулась такой же «густой», какой была до этого, будто ничего и не происходило, будто вой мне действительно приснился, а оборвавшийся звук был, просто, пробуждением из сна в явь, резким щелчком перехода из одного состояния в другое.

Я усмехнулась про себя, одними уголками рта, без звука. Нашла, из-за чего распереживаться. Волк завыл, перестал выть, обычное дело, звери не обязаны выть красиво и долго, как в кино, где звукорежиссер тянет ноту ради атмосферы. В жизни все обрывается там, где зверю вздумается замолчать, без оглядки на то, насколько это пугает людей, спящих в машине посреди чужого леса.

«Сама дура», подумала я, вспомнив, как еще вечером злилась на Андрея за его уверенность, за его спокойный сон, а теперь вот лежу, вслушиваюсь в каждый шорох, выдумываю зловещие паузы там, где их, наверное, и нет вовсе. Нервы. Обычные нервы после целого дня на разбитой дороге, после разговора, который так ничем толком не закончился.

Я опустила обратно на подушку из свернутой куртки, натянула плед повыше, хотя руки у меня, я заметила это

только сейчас, слегка подрагивали, и это раздражало сильнее, чем сам звук. Не до конца веря собственным уговорам, но уже не имея сил спорить сама с собой дальше, я закрыла глаза и попробовала снова поймать то вязкое полусонное состояние, в котором находилась минуту назад, до того, как лес решил напомнить о себе.

Я почти уже соскользнула в ту темноту забытья, где тело перестает принадлежать тебе целиком, как, вдруг, что-то или кто-то проскрипело по крыше. Не удар, не стук — именно скрежет, долгий, тягучий, будто кто-то тянул по металлу что-то длинное и твердое, не спеша, с расстановкой, как проводят гвоздем по стеклу, проверяя, какой звук получится.

Он начался над моей головой, где-то у заднего стекла, и двигался вперед, медленно, с остановками, словно нарочно давая мне время услышать каждую скрипучую «ноту».

Я замерла. В прямом смысле — перестала дышать, потому что собственное дыхание казалось слишком громким на фоне этого звука, который я не могла ни с чем сопоставить. Глаза уперлись в обивку потолка, туда, где по моим подсчетам сейчас находился источник, хотя я прекрасно понимала, что смотреть там не на что, кроме серой ткани.

Волк не лазает по крышам машин. Эта мысль пришла первой, ясная и холодная, и я тут же попыталась ее заглушить, как заглушала все предыдущие. Коготь зверя, который за-

брался повыше. Рысь? Куница? Да мало ли кто водится в таких лесах, я же не лесничий.

Звук не прекращался. Он полз дальше, к середине крыши, и в этом движении была странная целенаправленность, будто то, что его производило, точно знало, куда идет и зачем, не просто скользило по случайной траектории ветки под порывом ветра, а двигалось — вперед, вдоль, к краю. А ветра не было. Весь вечер не было ни дуновения, я это запомнила отчетливо, потому что еще засыпая, подумала, какая стоит духота, ни один листок не шелохнется.

Скрежет сместился к дверце со стороны Андрея. Я повернула голову медленно, по миллиметру, стараясь не создавать ни единого шороха одеждой о сиденье, и устоялась туда, где за стеклом должна была быть только темнота леса, разбавленная тусклым светом, неведомо откуда взявшейся, Луны.

Звук полз по металлу водительской двери, там, где снаружи была ручка. И, вдруг, стих. Не затих постепенно, не ушел дальше по инерции движения, а именно остановился, будто рука — если это была рука, если это вообще было что-то с руками — легла поверх металла ручки и замерла, прислушиваясь к тому, что происходит внутри салона, точно так же, как я прислушивалась к тому, что происходит снаружи.

Я больше не могла врать себе, что сплю. Сердце колотилось так, что я ощущала его в горле, а пальцы вцепились в край пледа с такой силой, что ногти, кажется, продавили ткань насквозь.

— Андрей, — позвала я шепотом, почти беззвучно, одними губами.

Он не шелохнулся. Спал он всегда крепко, особенно после тяжелого дня, а день выдался изматывающим — колеи, застрявшее колесо, духота, нервы, — и сейчас его дыхание ровно вздымало грудь под тонкой футболкой, спокойное, почти обидное своей безмятежностью.

Я толкнула его в плечо, не сильно, боясь издать лишний звук, который разнесется в этой неподвижной тишине дальше, чем нужно.

— Андрей!

— М-м... — он промычал что-то невнятное, повернул голову на бок, но глаза так и не открылись.

Я толкнула сильнее, уже не так осторожничая.

— Проснись!

— Чего тебе... — пробормотал он, не разлепляя век, голос был хриплый, чужой со сна, — спи давай...

И снова провалился, даже не договорив фразу до конца, будто сон тянул его обратно за шиворот с той же настойчивостью, с какой минуту назад что-то тянуло неведомый предмет по крыше нашей машины. Я осталась одна с этим звуком и с тишиной, которая сейчас казалась еще более гнетущей, чем прежде, будто весь лес затаился вместе со мной, ожидая, что случится дальше.

Я смотрела на дверцу, на то место у ручки, где стих скрежет, и заставляла себя дышать ровно, считать вдохи, как учи-

ла психолог на курсах по работе со стрессом, которые я бросила на третьем занятии, посчитав блажью.

«Ветка», сказала я себе снова, уже из последних сил цепляясь за эту мысль. Длинная сухая ветка, которую пригнуло к земле каким-то образом, а потом она распрямилась и зацепилась за крышу, когда мы остановились, а сейчас просто качается от собственной тяжести, от того, что высохла неравномерно и трескается внутри ствола, издавая звуки сама по себе, без всякого ветра — мало ли, дерево не обязательно подчиняться моим представлениям о физике, оно может скрипеть и двигаться от перепада температур, от ночной сырости, впитавшейся в кору за день.

Я повторяла это про себя, как заклинание, и с каждым повтором слова звучали все более пустыми, все менее убедительными, но другой версии, другого объяснения, за которое можно было бы уцепиться, у меня просто не было. А признать, что объяснения нет вовсе, я пока не готова была себе позволить.

Луна пробилась сквозь пелену туч и теперь висела над самыми вершинами, низкая, тяжелая, с тем мутноватым оттенком, какой бывает в июльскую духоту, когда воздух весь день копит пыль и гарь дальних пожаров, а к ночи не успевает очиститься. Свет ее лился в лобовое стекло наискось, рисуя на приборной панели бледный ромб, и я смотрела на

этот ромб уже минут десять, не моргая, потому что боялась отвести взгляд от окна, со своей стороны.

Движение я заметила краем глаза — так замечают муху, пролетевшую у виска, раньше, чем понимают, что это было. Что-то темное промелькнуло за стеклом, по той его части, что была ближе всего ко мне, и пропало за рамой двери.

Я повернула голову резко, слишком резко, так что хрустнул затекший позвоночник, и уставилась в пустоту, где лес стоял стеной из черных силуэтов на чуть менее черном небе. Ветка, подумала я. Опять ветка, опять дерево, которое скрипит само по себе. Но ветки не отбрасывают такие насыщенные тени, а эта тень была плотной, почти осязаемой, будто кто-то провел по стеклу темной тряпкой.

Я проследила взглядом линию лунного света — от диска над вершинами, через просвет в кронах, вниз, туда, где он ложился косой полосой на капот машины и дальше, на приямую траву у переднего колеса. Все тени от деревьев, от веток, от каждой травинки тянулись в одну сторону, туда же, куда указывал этот свет, — длинные, параллельные, покорные единственному источнику, как и положено теням. Я знала это с детства, еще со школы, с тех редких случаев, когда что-то из школьной программы, действительно, врезалось в память: один источник света — одно направление теней. Та тень шла наперекор.

Я смотрела, как она снова появилась у заднего окна, медленно, не торопясь, словно прогуливаясь вдоль борта маши-

ны, и двигалась она не вдоль лунной полосы, а поперек нее, почти навстречу, как будто у нее был собственный, персональный свет, невидимый мне, или как будто законы отбрасывания теней к ней, попросту, не применялись.

Я проверила еще раз, уже сознательно, заставляя себя мыслить методично, как Андрей заставлял себя считать до десяти перед сложным кадром. Луна — одна, вон она, низко над соснами, мутная, с красноватым налетом по краю диска, будто ее изнутри подсветили ржавчиной. Значит, и теней должно быть ровно столько, сколько предметов между ней и землей, и все они должны смотреть в одну сторону, на юго-восток, туда же, куда указывала тень от антенны на крыше нашего внедорожника, застывшая, неподвижная, правильная. Эта же тень шла с запада на восток. Против света. Сама по себе.

— Это фары! — прошептала я одними губами, не разжимая их по-настоящему, лишь шевеля воздух перед собой. — Это трещина в стекле, преломление, оптика, что угодно!

Стекло со стороны пассажира действительно было треснуто — тонкая серебристая линия разбегалась от нижнего угла, память о камне или ветке на какой-то из прошлых колдобин, и я цеплялась за эту трещину с отчаянием утопающего, хватающегося за соломинку.

Преломленный свет мог вести себя странно, думала я, лучи могли ломаться, расщепляться, идти не туда, куда положено, оптика полна таких фокусов, я читала об этом ко-

гда-то, может, в журнале, может, в какой-то передаче, неважно где, главное — читала, что это существует как явление, а не то, что мерещится сейчас моему уставшему воспаленному мозгу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.